



ВЛАДИМИР ГАНДЕЛЬСМАН

ВИДЕНИЕ Избранное

Стихи Гандельсмана поражают интенсивностью душевной энергии... ошеломляют буквальностью чувств, голой своей метафизичностью, отсутствием слезы... /в них есть/ любовь любви, любовь к любви — самая большая новация в русском стихе, в этом веке запечатлённая.

Иосиф Бродский

...потянулся к лампе, чтобы глагол «зажечь»
промелькнул в уме и осветил тетрадь,
и открыл тетрадь, чтобы возникла речь,
и сказал «Господи», чтобы Он мог начать.

ВЛАДИМИР ГАНДЕЛЬСМАН

ВИДЕНИЕ



Избранное



УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-5
Г 19

Оформление обложки Вадима Пожидаева

В оформлении обложки использована
фотография из архива автора

Гандельсман В.

Г 19 Видение : Избранное / Владимир Гандельсман. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. — 416 с. — (Азбука-поэзия).

ISBN 978-5-389-15703-3

Владимир Гандельсман (р. 1948) — один из самых ярких современных поэтов. Он автор двух десятков сборников стихов, лауреат многих поэтических премий: «Liberty» 2008), Русская премия (2008), «Московский счет» (2011), «Anthologia» (2012). Его поэзия продолжает американскую линию петербургского модернизма, представленную именами Набокова и Бродского. Поэзия Гандельсмана расширяет наши представления о современном мире, она экспериментальна, но при этом не порывает с традицией Серебряного века. С 1989 г. живет в США. Блестящий переводчик (от Шекспира, Льюиса Кэрролла, Эмили Дикинсон до современных американских поэтов), он виртуозно передает гибкость и эмоциональную новизну их художественного послания.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-5

© В. Гандельсман, 2019
© Оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“, 2019
Издательство АЗБУКА®

ISBN 978-5-389-15703-3

ИЗ ПЕРВЫХ ОПЫТОВ

* * *

Сквозь тьму непролазную, тьму азиатскую, тьму,
где трактор стоит, не имея любви ни к кому,
и грязи по горло, и меркнет мой разум,
о, как я привязан к Земле, как печально привязан!

Ни разу так не были дороги ветви в дожде,
от жгучего, влажного и торопливого чтенья
я чувствую, как поднимается сердцебиенье
и как оно глохнет, забуксовав в борозде.

Ни разу ещё не желалось столь жадно жить,
так дышит лягушка, когда малахит её душат,
но если меня невзначай эти ночи разрушат,
то кто, моя радость, сумеет тебя говорить?

Так вот что я знаю: когда меня тянет на дно
Земли, её тягот, то мной завоёвано право
тебя говорить, ну а меньшего и не дано,
поскольку Земля не итог, но скорей переправа.

Над огненным замком, в котором томится зерно,
над запахом хлеба и сырости — точная бездна.
Нещадная точность! Но большего и не дано,
чем это увидеть без страха, и то неизвестно.

Расширяясь течением реки, точно криком каким,
точно криком утратив себя до реки, испещрённой
стволами,
я письмом становлюсь, растворяясь своей вопреки
оболочке, ещё говорящей стихами.

Уходя шебуршаньем в пески, точно рыба, виски
зарывая в песчаное дно, замирающим слухом...
Как лишиться мне смысла и стать только телом реки,
только телом, просвеченным — в силу безмыслия —
духом?

Только телом, где кровь прорывает ходы,
точно крот,
пронося мою память, её разветвляя на жилы...
Я к тебе обращён, и теперь уже время не в счёт:
обращённый к тебе, исчезаю в сознании силы.

Опыт горя и опыт любви непомерно дают
превращение в сердце, лишённое координаты,
оно — всё, оно — всюду, с ним время в сравнении —
зуд,
бормотание, шорох больничной палаты.

И теперь всемогущество зрения — нежность его,
пусть зрачок омывает волна совершенным накатом,
это значит, пробившись за контур, слилось существо
6 с мнимо внешним и мнимо разъятым.

* * *

Троллейбус, что ли, крив,
раздрызган и знобящ,
что едешь полужив,
завёртываясь в плащ,

дрожишь, облокотясь
на отсвет свой в окне,
без тела-то сейчас
ему теплей, чем мне.

Да, я бы мог не жить,
не видеть вообще,
и слов не говорить,
и не дрожать в плаще,

но если это Бог
мне зябкий подал знак,
то как Он одинок,
Собой расщедрясь так.

* * *

Вот
и Нила разлив,
крокодильского Нила,
крокодильского Нила разлив.
На окраине Фив
ночь слезы, говоришь? Как ты плачешь, Исида,
красиво,
очи полузакрыв!

Ты
прекрасна, ты миф,
одаряющий щедро
благодарные полосы нив.
Но поблизости Фив
мне к отплытью готовиться в барке ливанского
кедра,
слышишь арфы призыв?

Не
дожив до войны
(слава богу Амону!),
пару лет не дожив до войны,
я загробной страны
дуновению внял и поддался холодному гону
той змеиной волны,

той
волны, исподвóль
абиссинскою кровью
гор увитой... Но так не неволь,
распусти мою боль,
мой клубок жизнелюбия, крови, прокорма, здоровья
и не сыпь эту соль!

И
бескрайний песок,
и просторы не эти ль
я любил, но не мог, но не мог
тебе верить, мой бог...
Моё сердце, пишу, не восстань на меня
как свидетель
по ту сторону строк.

* * *

Всё совестней цепляние за жизнь,
а речь срывается в словесный шум, кишасший
самим собой, ты вылазке кошачьей
четверолапых строф бросаешь «брысь!».
Речь раньше разума, невнятность не каприз,
но чуянье и призрак настоящий.

И, в дебри зарываясь, как зверьё,
почуявшее смерть, она клокочет
тем человечнее, чем больше забытьё,
чем более сама себя не хочет...
То жизнь моя, цепляние моё,
обвал и пропадание среди ночи.

* * *

Валерию Черешне

Над дебаркадером ползёт чёрно-серое небо,
пожиратель стоит пирожков,
и дымятся лотков маслянистые недра,
и в крестовом походе летящего снега
я прочитываю: Петергоф.

Всё. Пора. Всё. Пора. Затолкать себя в тамбур.
Набирая и скорость и хруст,
пусть меха меж вагонами хрипло болеют
катаром,
а на станциях двери, расфыркавшись паром,
останавливают вдали чернокуст.

Ради слова, растущего ветвью, энергией взрыва —
промахнувшись, беспорно попасть, —
ради внутрислогового в суставах его перебива,
перелома, сращённого верно и криво,
я и трачу построчную страсть.

Разве речь одержимого не пробирает до дрожи,
и её осязаемый пыл
через голову смысла бросается на бездорожье
ослепительных чуждостей, но — и не тронутых
ложью,
и исполненных сил.

Разве из черноты набегают огни Петергофа,
или это скорей
называние жизни, и тяжеловесные строфы,
и ворчанье с ворочаньем в шубе, сцепления грохот,
шаг вовне из разверстых дверей.

* * *

Я тоже проходил сквозь этот страх —
раскрыв глаза,
раскрыв глаза впотьмах, —
всех внутренностей, выгоравших за
единый миг,

и становился как пустой тростник,
пустой насквозь,
пустее всех пустых,
от пальцев ног и до корней волос,
я падал в ад,

точней во тьму иль в вашу Тиамат,
не находя,
где финиковый сад,
где друг умерший, где моё дитя,
где солнца жар,
где ты, спускающийся в Сеннаар,
где та река
и где над нею пар,
где выдохнутый вон из тростника
летучий дар.

Я этим жил на протяжении лет,
тех лет моих,
которых больше нет
ни среди мёртвых, ни среди живых,
я извлекал

звук из секунд, попав под их обвал,
благодаря
тому, что умирал
прижизненно, а зря или не зря —
поди измерь...

Не так твоими мускулами зверь
зажатый пел,
как я, скажи теперь?
Не песней ли и ты перетерпел
ночной кошмар,

ты, с гор спускающийся в Сеннаар?
Смотри — река,
смотри — над нею пар,
как выдохнутый вон из тростника
летучий дар!

* * *

Я говорю с тобой, милый, из угольной, угольной ямы, своей чернотой смертельно напуганной, вырытой, может быть, в память об Осип Эмильиче, помнишь, твердившем в Воронеже: выслушай,

вылечи.

Я говорю с тобой, больше и не с кем, и не о чем, только с тобою, ещё нерождённо-нежнеющим во временнóм послезавтрашнем срезе, ты выуди смысл оттуда, где нет его, ты его вынуди быть в этой угольной яме, безумной от копоти, выкопай слово о счастье, о смысле, об опыте письменной речи — возьми её в виде образчика речи, сыгравшей прижизненно в логово ящика, в страшной истории так откопают умершего, Господи, он ещё дышит, утешься, утешь его.

* * *

Это город слепых,
розоватых, трапецеобразных
стен, от ветров ненастных
оградивших живых,
это город глухих
переулков несчастных
и безмолвных, прекрасных
снегопадов густых.

Это город теней
во дворах нездоровых,

это город готовых
к вымиранью людей.

Это город детьми
облюбованных горок,
древний образ мне дорог, —
если хочешь, возьми, —

это город зимы,
мандариновых корок,
холодов, полутьмы,
вереницы огней
с жёлтым прицветом йода,
и железных коней,
и того пешехода...

Ну, живи, цепеней.

* * *

И от любви остаётся горстка
пепла, не больше напёрстка.
Нет, не страшно стало душе
быть нелюбимой уже.

Вот тебе рукавицы, ватник,
лампочка в сорок свечей,
кружка воды и мышиный привратник.
Чей ты теперь? Ничей.

Будешь двуруким теплом двуногим
жить, согреть тьму,

счастьем обязан был ты не многим,
будешь зато — никому,

это и есть твоё счастье... Всё же
это ещё и твой страх,
что и тогда тебе Бога дороже
будут пепел, напёрсток, прах.

* * *

Человеку нужна только комната,
комната и кровать,
чтобы не метаться из города
в город, не ночевать
на вокзале, не дрожать от холода.

Человеку нужна только комната,
чтобы молиться всею ночью
и вседневно о себе и о ком-то
ещё любимом, чтобы чувства мощно
высились подобно иконам.

Человеку нужна комната
и жизнь, прожитая неверно,
с ненавистью, с удушающим опытом
измены, трусости, скверны
пошлого на ухо шёпота,

чтобы сердце рвалось, потом окрепло
и превратилось в скалу, чья память
не возрождает из пепла
любимых, ни подниматься, ни падать
не умея, но лишь стоять ослепло.

* * *

Феноменальность жизни моей, шага,
вдоха грудная тяга,
коченеющий утра пустой объём
и шаги мои в нём.

В жизнь упавший, в чехле
кожи, с принятой на земле
логикой мышц, суставов, костей
вертикальных людей,

я иду к остановке, и там стою
безмолвно, и не перестаю
шевелить от холода пальцами ног,
весь — удар прицельного бытия и его срок.

* * *

Ребёнок спит, подложив под щёку
руку, другой обняв
куклу, ему не снится совесть,
он глубоко прав.

Так глубоко, как на пустыре
снег, — ни фабрик вблизи,
ни чёрных фигур во дворе
по колено в грязи.

Снег на пустыре один,
как ребёнок, спит,
он ослепительно состоит
из самого себя.

О радости — как засыпает мост,
как засыпают полувеки
его пролётов,
как снег летит в деревья, в их навеки
открытый мозг,

о русле, где лиловое сверло,
своих тяжёлых оборотов
вращая бремя,
колеблет цепи ртутных перемётов,
и занесло

мой спичечный — по крышу — коробок,
дарованный на время
сезонной стужи...
Два-три пейзажа, чувства, две-три темы
и детский бог —

вот всё, что есть, все крохи изнутри.
О радости, о разности — снаружи
покой могучий,
душа или плоть — они так много хуже
любой поры.

Лишь точной речи, поднятой со дна,
влажно-сыпучей,
вся разность эта —
ослепшей речи, поднятой на случай, —
всегда равна.

О радости — как засыпает всё,
как милицейская комета
летит, мигая,
наматывая зелень снега, света
на колесо.

* * *

Домой, домой, домой,
с Крестовского съезжая
моста, я вздрогнул: боже мой,
какая жизнь простая,

как всё проявлено: торчат
деревья, трубы,
и мокрый снег летит, и спят
в снегу гребные клубы,

и всё молчит, срезаясь за
стекло косым квадратом,
то набегая, то сквозя,
то волоочась закатом,

а там, среди серых плоскостей,
смиряются, смиряют,
хоронят, любят, ждут гостей,
живут и умирают,

и надо двери отворить,
и надо чаю заварить.

ТРИ ВРЕМЕНИ ГОДА

1

Чередование года времён
я застаю у себя в котельной,
с мышью, притихшей в кладовке, вдвоём
слушаем осени шум запредельный
или вдруг слушать перестаём.

Третий уж год параллельно реке
я засыпаю, по левую руку —
парк, и ничто уже не вдалеке.
Дверь отворяю и радуюсь другу,
снегу, тающему на воротнике.

2

За ночь снега под дверь насыпет,
я лопатой его разгребу,
оглянусь — параллелепипед
дома жёлтого на берегу,
дверь открыта и чай не выпит.

А на стенах осела копоть,
невесомый рисунок дней,
тех, что некий безумец копит
и записывает... Ему видней...
Но меня ничто не торопит.

3

В угол, в уголь смотрел чёрно-синий
я вчера и таких длиннот

вдруг услышал — не звук — пустыню,
что замедлило время ход
и пропало в полночной тине.

Но откуда тогда под подошвой
утра хрусткие ямы, бугры,
ночь, утёкшая в темень коры,
мир с голубизною подмёрзшей
накануне цветенья поры?

* * *

Я о тебе молюсь,
я за тебя боюсь.
Пока живём — живём,
пока вдвоём — вдвоём,
но как вместить обещанную грусть,
какое платье из неё сошьём?

Я не хочу смотреть
на государство-смерть,
и на его зверей,
и на его червей,
но как вместить обещанную твердь,
читатель Иоанновых страстей?

Но как тебя спасти,
когда нас нет почти,
и дар случайный жить
нас понуждают скрыть.

Я ничего не вижу впереди.
Как эту тьму кромешную вместить?

Дай только раз вдохну,
дай только жизнь одну, —
пока живём — живём,
пока вдвоём — вдвоём, —
дай только жизнь ещё раз помяну.
Жить будем ли мы вновь, когда умрём?

* * *

Шум, шум, шум
дождя, шум, шум,
спит земля-тугодум,
я в подушку стихи прочту
не про эту жизнь, а про ту,
где и сердце и ум.

Спит, спит, спит
земля, спит, спит,
кто убил, тот и сыт,
я тобою лишь дорожу,
да ещё двумя, кем дышу,
кто ещё не убит.

Друг, друг, друг,
тебе, друг, друг,
моё слово не вдруг,
ты приник к нему-своему,
как и я приник к твоему,
есть лишь родственный звук.

Лишь, лишь, лишь
дождя, лишь, лишь,
под который ты спишь,
наполняет комнату шум,
шевелиющихся долгих дум
потрясённая тишь.

* * *

Должен снег лететь
и кондитерская на углу гореть,
мать ребёнка должна тянуть
за руку, должен ветер дуть,
и калоши глянцевого блеснуть,

продащицы розовые в чепцах
кружевных должны поднимать
хруст слоёных изделий в щипцах,
и ребёнок, влюблённый в мать,
должен гибнуть в слезах,

и старик, что бредёт домой,
должен вспомнить, как — боже мой! —
как сюда он любил
заходить, как он кофе пил,
чёрный кофе двойной.

«Больше, — шепчет, — лишь смерть одна,
потому что должна
этот шорох и запах смыть...» —
и глухая должна стена
тень его крупнить,

и тогда снегопад густой
всё укроет собой,
и точильного камня жрец
сотворит во мгле под конец
дикий танец с искрой.

* * *

Днём в комнате зимы начальной
голубоватый свет и потолок белесый.
Я вижу тебя девочкой печальной,
вне сплётенного к жизни интереса.

Без твоего участия день стихает,
придёт с работы мать, суп разогреет
грибной (за дверью связка усыхает),
потом над кройкой и шитьём стареет.

Ещё увидишь: лампы свет прикроет
газетой, и такая грусть настанет,
как будто ты раздумываешь — стоит
или не стоит жить, — не слишком тянет.

Я там тебя люблю, и бесконечней
не знаю ничего, не знаю чище,
прекраснее, печальней, человечней
той нерешительности и свободы нищей.

Из книги
«ЭДИП»

ШУМ ЗЕМЛИ

ВСТУПЛЕНИЕ

Потому что я смертен. И в здравом уме.
И колеблются души во тьме, и число их несметно.
Потому что мой разум прекращается разом.
Что насытит его — тем, что скажет, что я
не бездушен,

если сам он пребудет разрушен, —
эти капли дождя, светоносные соты?
это солнце, с востока на запад летя
и сгорая бессонно?
Что мне скажет, что дождь — это дождь,
если мозг разбежится как дрожь?

Так беспмятствует, расщеплено, слово, бывшее
Словом,
называя небесным уловом то, о чём полупомнит оно.

Для младенческих уст этот куст. Для младенческих
глаз.

До того как пришёл Иисус. До того как Он спас.
Есть Земля до названья Земли, вне названья,
где меня на меня извели, и меня на зиянье
изведут. Есть младенческий труд называнья

Кто их создал, куда их ведут, кто такие?

Усомнившись в себе, поднося свои руки к глазам,
я смотрю на того, кто я сам:

пальцы имеют длину, в основании пальцев —
по валуну,

ногти, на каждом — страна восходящего солнца,
в венах блуждает голубизна.

Как мне видеть меня после смерти меня,
даже если душа вознесётся?

Этой ночью — не позже.

Беспризорные мраки, в окно натолпившись, крутя
занавеску, пугая шуршаньем, бумагу задевая, овеют
дыханьем дитя.

Дитя шевельнёт губами.

Красный мяч лакированный — вот он кру́глит на
полу.

А супруги, разлипшись, лежат не в пыли, и пиджак
обнимает в углу спинку стула, и ма́сляет вилка на
столе, и слетают к столу непризорные звуки и мра-
ки, и растут деревянные драки веток в комнате,
словно в саду.

А бутылка вина — столкновение светящихся влаг
и вертящихся сфер, и подруга пьяна, и слегка этот
ветер ей благ — для объятий твоих, например. По-

Вот вам умное счастье безумных, опьянение юных
и вдох для достания дна.

Одинокая женщина спит-полуспит. Если дом разоб-
рать, то подушка висит чуть пониже трубы завод-
ской, чуть повыше канавы. Станет холодно пуху
в подушке. Спит гражданка уснувшей державы, ко-
ченея в клубочке, как сушка.

Ты пейзаж этот лучше закрой.

Ночь дерева, каторжника своих корней, дарит чер-
номастных коней, разбегающихся по тротуару.

Ночь реки, шарящей в темноте батарей, загоняет
под мост отару золоторунных огней.

Ночь киоска, в котором желтеет душа киоскёра.

Ночь головного убора на голове манекена.

Ночь всего, что мгновенно.

Проживём эту ночь, как живут те, кто нищи. Разве
это не точный приют — пепелище? *Что* трагедия,
если б не шут, тарабанивший в днище?

Вот почему ты рвёшься за предмет, пусть он оду-
шевлён, — чтоб нищенствовать.

Там, где пройден он, к нему уже привязанности нет.
Две смерти пережив — его и в нём свою, — не воз-
вращай земного лика того, кто побеждён, как Эври-
дика. Для оборотней мёртв его объём.

Лишь ты владеешь им, когда насквозь его про-
шёл, твой края не те, где нищенствуют вместе или
врозь, — но нищенствуют в *полной* нищете.

Здесь расстаются, нервы на разрыв испытывают, ненависть вменив в обязанность себе для простоты, здесь женщина кричит из пустоты лет впереди. Печальнейший мотив.

А более печального не жди.

Старушечьи руки, и рюмочка из хрусталя, и несколько капель пустырника, и опасенье, что жизнь оборвётся вот-вот, но ещё, веселя, по капле даётся, и вкусно сосётся печенье. И крылышки моли из шкапа летят, нафталя.

В большую глубину уходит кит, чернильной каплей в толщу океана опущена душа левиафана, полночная душа его не спит.

Он с общим содержанием столь же слит, сколь форма его в мире одинока, и, огибая континент с востока, — уходит, как чутьё ему велит.

И высится в море терпенье скалы, осаждённой таким неслыханным ветром морским, что слышится ангелов пенье.

И разум упорствует, противоборствуя тьме. Но тотчас, из хаоса выхвачен самосознанием, он хочет бежать бытия и вернуться к зиянию, подобному небу, когда оно ближе к зиме.

Бедняжливый узник в своей одиночной тюрьме страстей, он расхищен на страхи, любовь, покаяние, и нет ему выбора — только принять умиранье

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

...коротенький обрывок рода.

А. Блок. Возмездие

Мальчик встанет, телом тонким потянувшись, мальчик встанет, умалением свободы — поперёк — сегодня станет,
а сквозящую наружу душу плачем остановят, а возмрут обидой горло те, кто мальчика изловят,
подойдёт к тетрадке мальчик и запрет в портфель тетрадку, аккуратно съест яичко, мальчик съест яичко всмятку,
голубой белок, который приварился к скорлупе, соскребёт фамильной ложкой, затеряется в толпе, он в автобус сядет львовский на большое колесо и покатится на Невский в одинокое кино...

Вечерняя ворована сирень, все запахи затылочны и гулки, за папиросною бумагой брезжит день, как бы рисунок в «Малахитовой шкатулке»...

Так мальчик возвращается, дрожа, с букетом маме, постаревшей на год, как жалко маму, как колотится душа, как гости с хохотом на птицу подналягут...

Когда бы нюх звериноного чутья мне щупал путь, блуждая по Европе, то запах отыскался б не в укропе, а в комнате для стрижки и бритья:

картавый тип с повадками врача, орудуя машинкой по затылку, то выпускает в зеркало ухмылку, как скользкую рыбёшку, то, с плеча прицелившись и отведа бутылку, сжимает грушу, дурно хохоча, — и вот затылок холоден и странен, и мальчик освежён и оболванен, —

иль в мастерской, где чинят обувь и на подмётку
ставят крест, башмак тем самым обособив, его от-
правив под арест, —
там и накинется средь острий снующих игл, блестя-
щих шил дух кресел кожаных, подстил, подмётки,
разрывая ноздри,
а люд, чей говор-непотребник так аппетитен и бог
весь о чём, — напомним про учебник, где о ремес-
ленниках есть...

* * *

Чёрно-красная ночь Украины,
деревья в руины
обратились, пока добрели
в эти дебри равнины.
Рембрандт выгреб угли,
и на миг загорелись морщины
предыстории — старцев, их стад —
с аравийской пустыни
переписанной в сад.

Паровозный ли окрик,
холодный ли погреб —
по ступеням — на ощупь и вниз —
капель мокрых
просыпанный рис,
там сметана, там масло, там шорох...
Утра влажно-зелёный стручок,
или полдень дрожит на рессорах,
или вечера холодок.

Там подсолнух — затылок шершавый,
зелёный и ржавый,
сонно-белый, когда поперёк
он разломлен коряво,
ночь, звезды огонёк
пересёк небеса за Полтавой,
да урчащий перрон,
где украинский говор картавой
буквой «р» засорён.

* * *

На противоположном берегу
реки, через которую грохочет —
крест-накрест — мост железнодорожный,
пасётся стадо яркое с утра, —
так чертит грифель, смоченный слюной,
и, вытворяя брызги на бегу,
припляжная красавица хохочет,
за ней, смеясь, — на шее крестик ложный —
бежит хозяин пляжа, их игра
меня томит, за шахматной доской
два мальчика исследуют носы,
два гения в панамках от удара,
их бабушки в белье бледно-зелёном
с кулками из сегодняшних газет,
с кулками окровавленными вишен.
В кружении полуденной осы
приходит сон, в удушливости пара,
в депо, на паровозе раскалённом
сжимает машинист в руках обед.
Мне виден каждый жест и голос слышен,

я помню, кто что делает. Тогда,
уже тогда я был ничем не занят:
хоть слабых мира понимал легко я,
а сильные мной правили вполне,
ни тем ни этим не принадлежал.
Так только первобытная тверда
душа бывает — мир ещё не ранит,
но проникает тёмные покои,
и лилия горит на самом дне
воспоминанья...

* * *

Когда, проснувшись, к тамбуру спеша,
проснувшись от качнувшего толчка,
на ранней остановке, через гарь
растопленного чайного бачка,
когда, чуть недонежившись, душа
ещё хрупка, как юный государь,
когда мелькают вёдра и кульки
торговок вишен, яблоч или груш,
и проводник, свой китель доодев,
обходчику кричит благою чушь,
и солнце зажигает край реки,
на улице посёлка, меж дерев,
ты видишь: беспокойству далека,
вся пахнувшая сонным молоком,
высокая, в накинутом до пят,
медлительно, и тонко над плечом
лежит кувшин обнявшая рука,
когда картина, тронувшись назад,
и ты идёшь растерянно в вагон,

от чуда всё навеки потеряв,
где спят тела, покачиваясь в лад,
и скорость набирающий состав,
крутые яйца, курица, батон,
и любопытства равнодушный взгляд
соседа сверху...

* * *

Перрон, как в гречневой крупе,
в коричневых и чёрных зёрнах,
жизнь детских глаз внутри купе,
больших, растерянных, минорных,
прилив сочувствия к себе.

Кто гречку так перебирал,
водя ладонью по клеёнке,
зеленоватой, как вокзал,
живущей запахом в ребёнке.
Я в жизни лучшего не знал.

И бедность жизни и минут
при тихом троганье вагона
в полубезумии плывут
за край всего, что я бессонно
люблю, и большего не ждут.

И я не жду. Мир ни красив,
ни страшен, как ни обозначим.
Вот так и жить бы, как прилив,
одним сочувствием и плачем,
зачем — ни разу не спросив.

* * *

...так осенью проехать мимо школы
своей, так под лопаткою укол, и
так очередь дрожит в медкабинет
эмалевый, так дни перед осмотром
с желтеющей листвой, с карминным кортом,
с тоской дистиллированной тех лет,

так пахнет, проступая из тумана,
сад осени больницей Эрисмана,
так гулко осыпается трамвай,
так розовых солдат плывёт колонна,
как в ауре, в парах одеколона,
Патрокл, Агамемнон, Менелай,

так хочется запоем, жизнь приблизив,
всё перечислить, смыслом не унизив,
так города избыточен размах
вернувшемуся с дачи, так хватает
он воздух из такси, и так не знает,
зачем он возвращается в слезах...

* * *

Этой женщины трудные очертанья,
есть фигура и некая угловатость...
Как единственно зренье, сестра, — это больше,
чем радость, —
это радость, и горе, и бережных сил испытанье.

Осень, женщина в створе дверей у стола,
над рукой голубая и дымчатая ваза,
под рукой леденящей клеёнки четыре угла,

и, собой потрясённые, расположились тела —
их смертельная ясность, и осени рыжая фраза.

Как всё замерло — как в ожидании письма,
не поддавшись восторгу с его раздражённой
изнанкой,
поздравительный запах открыток, бинокль,
валерьянка
в том шкафу, в стильной комнате, полной собраний
чужого ума.

До свидания. На ослепительном фоне окна
я обмолвил тебя и подумал, топчась в коридоре:
если это похоже на что-нибудь — только лишь на
драматичность семьи, её радость и горе.

* * *

медлит буксир на реке
стройка и дым вдалеке
осень на волоске
сердце болит в мотыльке

дом у реки ни огня
дверь приоткрыта в меня
там причитает родня
комнаты гул западня

Ты тяжёлую дверь отворил,
а за ней не свобода, а гнёт,
что-то в прошлом отец натворил,
что тебя искупление жжёт,

ты увидел, как, в кресле дремля,
над газетой он дышит с трудом,
как его накопила Земля,
так копил он для жительства дом,

в этом доме сопрели углы
от согрева кошачьих ковров,
и приметы тебе тяжелы,
и прекрасен, однако же, кров,

и к нему твоя страсть привилась
с тем напором пороков живых,
что и ловкая кошкина страсть
нюшит возле подмышек твоих,

ты в любви был зачат среди дней
небезгрешных уже потому,
что в тебя перелили вину
забывания сном потемней,

задремания, в кресло осев,
в те часы, как небесная синь
расправляет себя меж дерев
для бездомных совсем благостынь.

* * *

вроде кладбища
кругом серый камень
голос лающий
и бегущий за облаками

и приводят к нему
умирать кто должен
к камню этому
до которого дожил

вдруг отца ведут
страх предстал глазам
закричал я тут
как будто умер сам

и по камню песок
белым бегом рябит
ни один предмет
ни о чём не говорит

только солнце в висок
жмёт лучом своим
и бежит под ним
по камню песок

* * *

Развеселись, теперь развеселись,
не снизу вверх смотри, не сверху вниз,
перед собой смотри, и между складок

горчичных штор вдруг высветится жизнь
твоей семьи, пришедшая в упадок.

Там стар старик и женщина стара,
то царство, что возвысилось вчера,
сегодня пало, холодом озноба
охвачен дом, поэтому пора
развеселиться... Господи, ещё бы...

Танцуй на пепелище, потому
что нет ни воплощения ему
другого, ни другого завершения —
лишь танец, адресованный Тому,
Кто нас избрал танцующей мишенью.

* * *

А дальше-то вот что: под утро ключом
сверкнув, привалившись плечом
к дверям, отворишь их и юркнешь в тепло
чуть спящего дома ещё,

ещё не осмыслена сила вещей —
шарфы отдыхают от шей,
ещё не расправлены тягами рук
перчатки в карманах плащей,

и в старом трюмо, как в картинке одной,
рождественской, переводной,
нажимом ещё не проявлен пейзаж
таинственной жизни ночной,

здесь ночью сходились дыханья одних
с тенями предтечей своих
и вновь разбредались по разным углам,
к родству обязуя родных,

ты вынесен внутренним ветром кровей
на берег отчизны своей,
приливом колеблем, как снасть на песке,
снимая башмак у дверей,

ты чувствуешь, что утопился букет
сирени на кухне, на нет
он сходит в прихожей, себя бормоча
и собственным прошлым согрет,

ещё остаётся тот час до утра,
в котором есть завязь добра,
ещё среди хаоса бытность семьи
ручная — сильна как вчера,

там город бутылок из-под молока,
пустой, но не сданный пока,
и старый графин с кипячёной водой —
его наклоняла рука,

и чашка в цветочек китайских времён,
и ложка над ней под уклон,
и в матовых банках, пресыщен собой,
айвовый и сахарный сон,

а дальше — на цыпочках вкравшись в покой,
где шторы просвечены той,
пусть школьной, но полусвободной уже,
светающей, майской порой, —

одежду свою побросаешь на стул
и в миг до того, как уснул, —
вдохнёшь ледяную, льняную постель,
на ней распрямив этот гул.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

* * *

Это есть облегание темы,
обступанье словесною тьмой
внутри себя светоносного темпа
шевелиющейся жизни одной,
ты её не поймёшь, не раскроешь —
так увит в скорлупе ото всех,
как свернувшийся моря зародыш,
закипающий грецкий орех,
это жизнь, что тебе и не снилась,
потому что ушла от людей,
затаилась, ушла, заслонилась,
больше нет обаяния в ней,
это рифмы на строчечных сломах
оцепляют, бесстыдно трубя,
неприступную цель, это промах
по мишени, щадящей тебя.

* * *

Волнуемое море непрестанно
меняет очертания свои,
над островом — могучие ступни
рванувшегося в небо Ханумана.

Задолго до того, как в оны дни
скрутили этот гул в стволы органа, —
всё было так: не поздно и не рано
для мозга, где и вспыхнули они,
стихии, совершаясь непрерывно...

И человек в гостиничном дыму
всей жалостью к проезжему — как странно! —
вдруг обращён, сочувствуя ему,

и человек, накинувши пальто,
идёт на пристань, мерно полагая,
что смерть — скорее тьмущее ничто,
чем что-нибудь, чем что-нибудь, родная
(он третье с первым путает лицо,
по городу приморскому плутая),

он думает, что музыка одна
меж формою конечной и стихией,
не знающей спасительного дна,
ещё находит лестницы витые,
духовного движения полна,

он думает: зачем гордишься ты
своей сосредоточенностью чудной
(хотя бы и на пристани безлюдной,
среди намокших досок и слюды),
зачем, зачем не знаешь простоты
единственной, текучей, многотрудной,

он слышит гулы шквальные о том,
как трудно перемалывать глубины,
творя и растворяя без причины
блеск плавников в холодном блеске глины,
и чует этот холод животом.

Странно, что и здесь жизнь,
что и здесь
кладбищ сухая весть
дрожит на ветру
и трепещет жечь,

странно, что и здесь дверь,
что и здесь
приоткрыта дверь
в комнатную нору,
где человек есть,

что его насквозь жаль,
что до чужих слёз
жалости ему нет
дела, что и со мной врозь
его печаль,

что на солнце крест белёс так,
что глаза слепит,
и, шелушась,
краска с него летит
в степь,

туда, где мак
дик,
где от любых влаг отвык
почвы слух,
треснувший, как крик

боли вразрез
жизни, которая здесь

привилась вкось,
уронив лишь
в виноградную гроздь

зелёный вес
запертого дождя,
странно, что и здесь жизнь,
что и здесь
теплится, как дитя,

этот со стороны
быт невыносим, чужд —
что мне до их нужд? —
другой страны
тяжёл вид,

тяжелее вдвойне
тем, что вдруг
не найду мне
близких, что их совсем,
возвратясь, не найду,

тем, что их вижу во сне,
словно смерть
репетирую их,
расположенных вне
осязаемости моих

глаз, тяжелей
тем, что и здесь, твержу,
жизнь, и здесь,
тем, что её пишу
вскользь, с ней

не примиряясь весь.

Это степь, и сухое пространство, как луковица сухое, с шелухой, осыпающейся на пастбище зноя, это жирные шпалы, кишечник депо, это мелкоком занавески на крайнем домишке, кривая скамейка, и детей худоба — только рёбра и лица в разводах перламутровой грязи, и курицы на огородах, вроде серых, кудахчущих, бегающих подушек, это солнечный слепень сыпучих, живучих и душных, обезумевших метров земли, где стрекозы и мухи, и на ящериц смахивающие гнезятся старухи.

Ничего нет грустнее кирпичных заводов

предместий,

известковых окраин из досок белёсых и жести.

Как здесь люди живут? как? (особенно после обеда) пахнут щами? ложатся в песок? как даётся им эта полужизнь? почему они не умирают

от прохлады и влажности мысли о море, только

пот утирают?

Это попросту взгляд непричастных, поскольку

проезжих,

глаз снаружи, а жизнь расточается внутрь, и нежных и невидимых сил этот взгляд не вбирает, и всё же — это степь, и сухого пространства горячая кожа, загорелые, масляные, вдыхаемые детьми руки слесарей, машинистов, обходчиков полые стуки по коленным чашечкам поезда, его крупные мышцы, это пыльной и низкорослой листвы шебуршащие

мышы,

это всё, что изжаждалось пить, как каторжанин

42 из хрустящего на зубах Экибастуза и Джебказгана,

он ручьём захлебнётся, он вылизет его русло,
он три дня будет пить, чтоб не так было грустно
умирать, это бредящая ливнем окрестность,
чтобы впадину рта напоить и воскреснуть,
воскреснуть.

* * *

Он о бесплодности чувствовал, о пустоте,
тщетности полой, задетой движением жизни.
Как было сердцу в такой духоте, тесноте
клетки грудной не склониться к тупой укоризне,

как не упёрлось оно в костяное ребро
в злых захолустьях, на мусорных ямах, в укромах
бедных. Ты скажешь: сквозное добро
сердце спасло. Но посмотришь, как бьют насекомых

малые дети, как давят подошвою их,
и усомнишься в его изначальности милой.
Есть равнодушное, зыбкое поле живых,
для пропитанья не знающих нежных усилий.

С жизнью слепых отношений — куда уж слепей! —
пасынка с отчимом: не примириаясь, коситься, —
отчима с пасынком: то ли заискивать в ней,
то ли, свыкаясь, угрюмо и медленно злиться, —

как избежал он? Отваром полынной травы
сердце лечил или к морю спускался прилежно
и тавтологию синей насквозь синевы
впитывал, как и оно, — равнодушно и нежно,

а возвращаясь, подолгу сидел, как старик,
горбясь над рукописью, чтоб угловатой
фразой скелетообразной поставить в тупик
мрачную суть, как бы взял её невиноватой?

Я его видел, он мёртв был, скорее всего,
мозг вещества его жизни, измучившись прежде
горечью мироустройства, иссохнув в надежде,
попросту больше не чувствовал ничего.

* * *

Кто меня перевёртывал на спину, я уже свёртывал,
говорю тебе, свёртывал, я уже так отдыхал отды-
хающим сердцем и кровь остужал свою, свёртывал,
остужал свою, свёртывал, свёртывал и остужал...
Я от жизни устал, посмотри, я комок своей боли,
перепрыгнувшей уровень жизни, свободы, неволи...
Кто сказал — это смерть, констатировал, в пра-
вом шкафу обыскавшись аптечки, овевшей йодом
строфу —

* * *

Куда теперь плыву, так долго шёл к разгадке пред-
стоящего отплытья, открой окно, там что? — Эдем?
Шеол? или следы кошачьего наитья, по снегу ухо-
дящего в подвал, да скрип шагов, открой его поши-
ре, проветри, здесь покойник, он устал от смерти,

закупóренной в квартире, открой окно, не бойся,
подойди, я век своих тяжёлые надгробья приподы-
му и гляну исподлобья, открой, мне одиноко вза-
перти —

* * *

Я шум оглушительный слышу Земли,
троллейбусных шин закипанье —
то дальше, то ближе, то снова вдали,
то мокрых подошв лепетанье,

то жести прогибы под тяжестью лап,
уродливых лап голубиных,
то — блюдце на полке колеблющий храп
соседа, то в тайных глубинах

квартиры, где плохо обои взялись —
меж ними и дохлой стеною, —
как сердца обрыв, осыпание вниз
трухи, совершенно пустое,

я слышу, как жмутся предметы к Земле,
стакан в подстаканник как вогнан,
как сумма их тел отразилась в столе
и вышла за чёрные окна,

для жадного слуха всё — Слово и мощь,
для мёртвого — вдвое и втрое,
открой, отвори, это снег, это дождь,
доснежие, что-то другое —

* * *

Я дальним эхом знал, что Слово — Бог, я чуял
 точку ту, где жизнь словесна,
а Слово тесным яблоком телесно, о, ты Его узнать бы
 в ней не смог, —
в ней яблоко берётся целиком: всем шёлком кожурой,
 надкусом кислым
до семечек с их чёрным, клинописным на лунках
 перепончатых письмом,
а прежде — ветвью с сорванным кивком, а прежде —

* * *

Я верил в бога Ра,
я богоравным был,
пока в ладье он плыл,
пока сиял он дивно,
пока я неотрывно
весь день за ним следил.

Я был ребёнком, мир
мой бог мне даровал,
я жил, я ликовал,
и в той песчаной почве
мой мёртвый предок порчи,
спелёнутый, не знал.

И вдруг мой бог погас,
и стала жизнь темна,
и, не нащупав дна,
я побежал, безумясь,

в пески, где, как Анубис,
лежала ночь одна.

Там верховодил лев,
там царствовал орёл,
там друга я нашёл
земной надёжней тверди,
он спас меня от смерти
и сам её обрел.

И вот с лица земли
могучий друг исчез,
я землю рыл, я лез
за ним в земные недра,
но не нашёл, как ветра,
его ни там ни здесь.

И я пошёл бродить,
и я бродяжил век,
и увидел ночлег —
то некто шёл из Ура,
был препоясан шкурой
овечьей человек.

И я пристал к нему,
и пас его стада,
и в поздний час, когда
стада и травы никнут,
я трижды был окликнут:
«Ты слышишь голос?» — «Да».

И духом я окреп,
и жертвенник возжёл,

и агнца я рассёк,
звезде падучей вторя,
и предо мною море
мне расстелил мой Бог.

* * *

Так посещает жизнь, когда ступня снимает
песчаный слепок дна,
так посещает жизнь, как кровь перемещает
вовне, и, солона,
волну теснит волна, как складки влажной туши
лилового и мощного слона,
распластанного заживо на суше,
и в долгий слух душа погружена,

так посещает жизнь, как посещает речь
немого — не отвлечься, не отвлечь,
и глаз не отвести от посещения,
и если ей предписано истечь —
из сети жил уйти по истечении
дыхания, — сверкнув, как камбала,
пробитая охотником, на пекло
тащимая — сверкнула и поблекла, —
то чьей руки не только не избегла,
но дважды удостоена была
столь данная и отнятая жизнь.

* * *

Ляжем, дверь приоткроем,
свет идёт по косой,
веет горем, покоем
и песчаной косой,

это жизнь своим зовом
обращается к нам,
вея сонным Азовом
с Сивашом пополам,

ты запомни, как долог
этот мыслящий миг,
что проник к нам за полог
и протяжно приник.

* * *

Проснувшись от страха, я слышал, он вывел меня
из ряда предметов, уравненных зимней луною,
ещё затихала инога волна бытия,
как будто в песке, несравненно омытом волною,

ещё возбегали в ту область её мураши,
нетрезвые пузы, зыри, не успевшие смыться,
и запечатлелась озёрная светлость души,
пока на окраинах доцокотали копытца,

причиною страха был ангел, припомненный из
ангины и игл, бенгальским осыпанных золотом,
и если продолжить, то чудные звуки неслись,
и створки горели, просвечены тонко гранатом,

и женщина, ты —
из белого тела была ты составлена так,
как песня того, кто тебя бесконечно утратил,
тот лирик велик был и мной завоёванных благ
он более стоил, поэтому их и утратил,

он был вожаком, протрубившим начало поры,
когда с водопоем едины становятся звери,
и в джунглях у Ганга топочут слоны, как миры,
и тени миров, преломившись, ложатся на двери,

и фермер Флориды следит, как порхающий прах
монарха, чьи крылья очерчены дельтой двойною,
своим атлантическим рейсом связует мой страх
с его стороною,

и запах был тот, что потом к этой жизни вернёт,
явившись случайно, явившись почти что некстати,
и свет, что так ярко, и страх, что внезапно берёт,
впервые горят над купаньем грудного дитяти.

«ТИХИЙ ИЗ СТЕНЫ ВЫХОДИТ ЭДИП...»

* * *

Высокий и узкий мост над путями,
свистки паровозов, грохот сцеплений,
безногий нищий с кепкой и медяками
под кустом цветущей сирени,

город ставен с сердечками и песчаных улиц,
белый утром, днём жёлтый и ночью синий,
где есть свой парикмахер, свой безумец,
свой базар с влажно-гнилым прилавком,
пропахшим дыней,

Господи, с веснушчатой рыжей жизнью
двух близнецов за забором хлипким,
со звуком из сада ученическим, чистым
будущей первой скрипки,

с комком у горла чуть ли
не у моего, но себя не вижу,
с дальней родственницей — белой, щуплой
девочкой над блюдцем двупалых вишен,

с острым кровосмесительным чувством
к ней, с полудетской лаской,
с тёплым воздухом, в котором пусто,
как на каникулах в классной,

с дядькой, который всё время шутит,
пританцовывая, и лет через десять,
Господи, умрёт и обо всём забудет,
и ещё через двадцать в последней строфе
воскреснет.

* * *

Эти люди — держатели твоего
горя, не зря родиться
ты хотел бы ни от кого,
никому, никогда, никому, никогда не присниться, 51

я хочу сказать, что для них
твоя жизнь — непосильная ноша,
что любовь и тирания родных —
это одно и то же,

эта комната — из породы палат
для душевнобольных: им застыт
сумасшедшие слёзы взгляд,
истязают взаимные их боязни,

посмотри, они нервно кричат
и размахивают руками,
друг без друга жить не хотят,
и рожают ясных детей, и становятся
безумными стариками.

* * *

Между тем эта вымышленная жизнь
не хуже твоей, не хуже моей,
с теснотой по-коровьи толпящихся дней
(наподобие национальных меньшинств),

со свежевыкрашенным в хате полом,
где бухгалтер ходил, прятал ключи,
жил — голый череп в очках — долго
с женой и двумя дочерьми,

там не меньше пылает солнце,
чем здесь, и коза пасётся,
и приезжего жениха кормят обильно...
(Помнишь? — спрашиваю сестру. —

Помню — пыльно.)

О, возможно, на то и старость,
чтоб увидеть их счастье как шум и ярость,
но в спасительном свете, спасительном свете,
и не иначе.

(Мы там жили ещё на даче.)

Там ходили с тазами они вчетвером
в баню, отмытый запах
клумбы с дымчатым табаком
проникал в их ноздри, и в чёрных накрапах,
чуть припудренный жёлтой пылью,
шелковистый мак источал свой свет...
Помнишь? Помню — идут между матерью
и отцом
и смеются, не зная, что не было их и нет.

* * *

Шуба. Солнце. Январь.
В шубе. В солнце. Лицо.
Небо. Облако. Гарь.
Мать с отцом.

Белизна. День. Слепит.
В белизне. В дне. Киоск.
В Гималаях так спит
снег. Как мозг.

Замер. Варезки. Пар.
В точку. Долго. Стою.
Крови внутрь удар.
В жизнь мою.

ШКОЛЬНИКИ. ВЕСНА

1

день солнечных томлений
со стружкой в луже голубой
её в колечках утоплений
штанины школьников гурьбой

2

тонкошеих учениц гуськом
снега кружевным воротничком
вербы вдоль побегом из зверинца
дымчато-пушным
синевой небесною ничком

3

в бумагу золотистую обёрнут
день как подарок развернуть мне долог
под линзою дымка древесный бормот
в земле размытой чайных роз осколок

4

вдруг четырёхугольник
стены сплошь розовый без окон
в закатный глаз попавший школьник
мигает магниевый опыт

* * *

Квартира в три комнатных рукава,
ребёнок из ванной в косынке,
флоксы цветут в крови сквозняка,
стопка белья из крахмала и синьки,

тёмная кухня, чашка воды
с привкусом белой рентгеновской ночи,
окна свои заматают следы,
разве ты можешь сказать, что не очень

любишь, и разве не знаешь, как сух,
плох этот стих — мимоходной кладовки
не стоит,
той, на которую надо коситься, и двух-
трёх обветшавших на плечиках,
съеденных молью историй,

это не время истлело, а крепдешин,
форточку-слух заливает погасшее лето
всё достоверней, и если бессмертной души
что-то и есть, то вот это, вот это, вот это.

СТИХИ ПАМЯТИ ОТЦА

1

Ночь. Туман невпродых.
И — лицом к октябрю —
надо прежде родных
исчезать, говорю.

Речь, которая есть
у людей, не берёт.
В большей степени весть
о тебе — этот крот.

Потому что он слеп.
Слепок чёрных глазниц.
В большей степени — степь.
Холод. Ночь без границ.

2

Узкий, коричневый, на два замка саквояж,
синие с белыми пуговицами кальсоны,
город, запаянный в шар с глицерином, вояж
в баню, суббота, зима и фонарь услезённый,

за руку, фауна булочной сдобная: гусь,
слон, бегемот, — по изюминке глаза на каждом,
то и случилось, чего я смертельно боюсь
там, в простыне, с лимонадом в стакане бумажном,

то и случилось, и тот, кто привыкнуть помог
к жизни, в предбаннике шарф завязавший мне, —
столь же
к смерти поможет привыкнуть, я не одинок:
страшно сказать, но одним собеседником больше.

3

Я шлю тебе вдогонку город Сновск,
путей на стрелке быстрые разбеги,
хвостом от оводов тяжеловоз
отмахивается, на телеге

шагаловский с мешком мужик-еврей,
смесь русского с украинским и с идиш,
мишигинер побачит тех курей
и сопли разотрёт в слезах, подкидыш,

весь местечковый, рыжий, жаркий раж,
всю утварь роя, всё, чем мне казался
тот город, всю языческую блажь, —
египетский ли плен в крови казался,

не знаю... Эту жизнь, которой нет,
которая мне собственной телесней
была, на ту ли тьму, на тот ли свет
я шлю тебе мой голос бесполезный,

как в Белгороде где-нибудь, схватив
в охалку свёрток груш, с толпой мешаясь,
под учащённый пульс-речитатив, —
ты отстаёшь, в размерах уменьшаясь,

и я иду к тебе, из темноты
тебя вернув, из немощи, из страха,
как блудный сын, с той разницей, что *ты*
прижат к моей груди как короб праха.

* * *

футбол на стадионе имени
сергей мироновича кирова
второго стриженного синего
на стадионе мая миру мир

под небом бегло гофрированным
рядами полубоксы тыльные
левее ясно дышит море там
блистательно под корень спилено

на стадионе мая здравствует
флажки труду зато в бою легко
плакатом мимо государствует
бутылью с жигулёвским булькают

парада досааф равеннием
идут руками всё размашистей
и вывернутым муравейником
меж секторов сползанье в чашу тел

потом замрёт и страшно высь течёт
над стадионом с. м. кирова
удары пустоты стотысячной
второго стриженного миру мир

по узеньким в часы песочные
в застолье ускользают сумерки
до дня победы обесточено
извилиной сверкнёт лишь ум реки

* * *

Из пустых коридоров мастики,
солнцерыжих паркета полос,
из тик-така полудня, из тихих,
тише дыбом встающих волос,

сохлым запахом швабры простенной,
труховой мешковиной ведра,
с подоконника пьющих растений
вверх кося фрамуги дыра,

перочисткой и слойкой в портфеле,
Александров под партой ползёт
к Симакову, который недели
через две от желтухи умрёт,

безъязыкие громы изъяты
горячо, и в продутых ушах
две глухие затычки из ваты,
и уроки труда на стежках,

и на солнце прозрачные вещи,
и пчела к георгину летит,
в вакуолях пространства трепещет,
слядяное безмолвье слезит,

то, что вижу, — не зрение видит,
не к тому — из полуденных тоск —
сам себя подбирает эпитет
и лучом своим ломится в мозг.

* * *

В георгина лепестки уставясь,
шёлк китайский на краю газона,
слабоумия столбняк и завязь,
выпадение из жизни звона,

это вроде западания клавиш,
музыки обрыв, когда педалью
звук нажатый замирает, вкладьш
в книгу безуханного с печалью,

дребезги стекла с периферии
зрения бутылочного, трепет
лески или марли малярия —
бабочки внутри лимонный лепет,

вдоль каникул нытиком скитайся,
вдруг цветком забудься нежно-тускло,
как воспоминанья шёлк китайский
узко ускользя, ольза, уско

ПАМЯТИ ЛЕНЫ СОКОЛОВОЙ

1

Мел сыпается с досок,
тряпок, весенний,
треугольниками хеопсы
залежей, где бассейны,

угольные буравят мухи,
в море впадают вилы
Нила, Некрасов муки
отслоил для Ненилы,

слойки и перочистки,
читка пиесы в лицах,

актовый зал отчизны,
Софья и Лиза,

я берегами Стикса
Лену ищу в тоске,
мальчики ждут от икса
играка на доске,

по небу снимки
лёгких летят легко,
розовые, как у немки
голубое трико,

в ту строку, где «весенний»,
тихо просится «день»,
тьнь проносится тени
Лены, тень её, тень.

2

Вот ещё один
март солнечный
не воплощён, иди
сюда, со школы начни,

с коридора начни,
как на колено берут
портфель они,
девочки, и Лена не тут

уже, замочки блестят
и резинки видны,
чуть в проталинах сад
прописан весны

вдали, иди сюда,
где сплошь мокрая
земля и с чавканьем стиснуты
калош края,

ближе подойди,
по стеклу в грязи
битому проведи
и цветок спаси,

помня, с белых лиц
двух учительниц
как слетал шепотком
с траурным ободком

мир, пылящийся
в груди сумерек,
там, где плащ, вися,
умер, сник,

утомясь, томясь,
иди себе прочь,
небом пряных масс
наплывает ночь.

* * *

Приближение первого
сентября, что ли, нервное,
запах крашенных парт,
бледность контурных карт,

ржавых астр букет,
холодок календарных
дат, круглеющий след
на фуражке кокарды,

с задней парты смешок,
и трескучая млечность
ламп дневных, и шажок, и шажок,
словно с тапочками мешок
тянешь в вечность.

* * *

О, ядро с ключицы
в воздух послано сентября,
долго летит, лучится,
в памяти застревает зря,

катится, пав на землю,
сантиметра три,
тем ли я занят, тем ли
занят я, — тускло, ядро, гори,

трусики-абажуры,
девичьи позвонки гуськом
тянутся с физкультуры
в неотразимом огне таком,

и спокойная пропасть
обрывается, мёртво стоя
на своём, — точно пропись
с оглянувшимся «я».

По коридорам тянет зверем,
древесной сыростью, опилками,
и — недоверьем —
дитя с височными прожилками,
и с лестниц чёрных
идут какие-то с носилками —
все в униформе.

Провоет сиплая сирена,
пожарная ли это, скорая,
пуста арена,
затылок паники за шторой
мелькнёт, и ярус
из темноты сорвётся своєю
листвы на ярость.

Он не хотел на представленье,
оставь в покое неразумное
дитя, колени
его дрожат, и счастье шумное
разит рядами, —
как он, его не выношу, но я
зачем-то с вами.

Горят огни большого цирка,
прижмётся к рукаву доверчиво —
на ручках цыпки
(я плачу) — мальчик гуттаперчевый...
Скорей, в автобус,
обратно всё это разверчивай,
на мир не злобясь.

Они не знали, что творили:
канатоходцы ли под куполом
пути торили,
иль силачи с глазами глупыми
швыряли гири,
иль, оснежась, сверкали купами
деревья в мире.

* * *

Вестибюля я школьного
окончания в пору уроков,
вроде взрыва стекольного,
световых его пыли потоков,
вроде с улицы вольного,

или галстуком розовым,
проутюженным, веянье шёлка,
и к учебникам розданным
обоняние тянется долго,
всё продёрнуто воздухом,

пилкой лобзика ломкою
контур крейсера, пыльные взоры,
и, любовное комкая,
вся на северной встречу Авроры
кровь пульсирует громкая,

время тусклое лампочки
в раздевалке, тупых замираний,
и мешочка на ляпочке,

и с родительских в страхе собраний
ожидания мамочки,

тонкокожей телесности,
шеи ватой обмотанной свинки,
астролябий на местности,
и рифлёных чулок на резинке,
и кромешной безвестности,

растворяйся, ранимая,
погружайся в тоске корабельной,
дом, и, неуяснимая,
под бессмертный мотив колыбельной,
радость, спи и усни моя.

* * *

Поднимайся над долгоиграющим,
над заезженным чёрным катком,
помянуть и воспеть этот рай, ещё
в детском горле застрявший комком,

эти — нагрубо краской замазанных
ламп сквозь ветви — павлиньи круги,
в пору казней и праздников массовых
ты родился для частной строки,

о, тепло своё в варежки выдыши,
чтоб из вечности глухонемой
голос матери в форточку, вынувший
душу, чистый услышать: «Домой!», —

и над чаем с вареньем из блюдечка
райских яблок, уставясь в одну
точку дрожи, склонись, чтобы будничным
выпить ужас и впасть в тишину.

* * *

Тихим временем мать пролетает,
стала скаредна, просит: верни,
наспех серые дыры латает,
да не брал я, не трогал, ни-ни,

вот я, сын твой, и здесь твои дщери,
инженеры их полумужья,
штукатурные трещины, щели,
я ни вилки не брал, ни ножа,

снится дверь, приоткрытая вором,
то ли сонного слуха слои,
то ли мать-воевода дозором
окликает владенья свои,

штопка пяток, на локти заплатки,
антресоли чулок барахла,
в боевом с этажерки порядке
снутся строем слоны мал-мала,

ничего не разграблено, видишь,
бьёт хрусталь inferнальная дрожь, —
пятясь, за полночь из дому выйдешь
и уходишь, пока не уйдёшь.

* * *

Тихий из стены выходит Эдип,
с озарённой арены он смотрит ввысь,
как плывёт по небу вещунья-сфинкс,
смертный пот его ещё не прошиб.

Будущий из стены выходит царь,
чище плоти яблока его мозг,
как зерно проросший, ещё не промозгл
мир, — перстами его нашарь.

Воздух, воздух губами ещё возьми,
разлепи два века и слух открой,
и вдохни, как крепко, кренясь, корой
пахнет дерево ещё не-зимы.

Ты сюда явился запомнить взрыв
вещества, которым и образован сам,
в чистом виде равный своим слезам,
ни единой тайны стоишь не раскрыв.

В белом ещё обнявшихся нет сестёр-
дочерей, и мать ещё не жена,
и себя не уговаривает: «жива» —
жизнь, и дышит дышит дышит в упор.

* * *

Ломкую корочку снега
продавливая за гаражами,

за отвороты ботинок завалится,
звякая за подкладкой грошами,
долго на стену пялиться...
мокрыми пятками, медными пятаками...

Корочка снега бурая,
прошитая горячо
собачьей капельками мочой,
в горле у идиота рыданье бурное,
всё ни о чём, ни от чего,
мамочку жаль, стена штукатурная.

(Если бы не слюны
запах с её платочка,
сажу стирает с моей щеки,
грустные окна слюды
на керосинке, я думаю, очень.
Долго в точку смотреть — и все далеки.)

Близко к рождению, небытие
втягивает, как в полынью,
разудаляются птицы две в небе те,
голову наклоню,
жить надо, врать, разорвать одну
жалобу школы на школьника в темноте.

Дай прихитрюсь,
припотею к воротничку,
жизнью пропахну, притрусь,
страшно ему, идиоту и новичку,
мёрзнуть и, втискиваясь в эту узь
за гаражами, изничтожать себя по клочку.

С ДЯДЬКОЙ

Мы — солнце яркое
желтей желтка — сидим,
ты держишь чарку, я
в твою одежду дым
вдыхаю впитанный
ночных костров, войны,
охоты, вытканной —
из-за твоей спины
видна — на коврике,
где солнца луч лежит,
и столько в облике
твоём любви дрожит
моей, — тянусь рукой,
и чарка алая
вина, скользнув рекой,
наряд твой залила,
тогда, скривив лицо,
ладонь отводишь ты —
нежна, блестит кольцо
на пальце, как цветы
нежна, и линий вдоль
ладони бел пучок,
но обжигает боль
мне щёку горячо,
я в угол тот бегу,
где лира спит у нас,
и слабо берегу
до-пробужденья час.

БАБУШКА ВИДИТ МУЖА

Дня мерцанье белое в обводах рам,
белое мерцанье из окна сквозит,
никого на дереве, лица ни там
нет, ни там, прищеплена, весна висит,

с бельевых верёвок перекрёщенных,
номерком нашитым бегло мечена,
не душа живая — это вещь на них
рукавами сохнущими мечется,

о каком Давиде — указательным
тычешь в створ весны — тебе бормочется,
никого под деревом, но, знать, больным
видится, как хочется, как хочется,

что-то вроде плёнки кинопорванной,
где идёт война, эвакуация,
беженцы в стога ныряют, в створ видна
в воздухе висящая акация,

с крестиков, гудящих в небе, ненависть —
кладбище летит горизонтальное —
валится, и дымом всходит века весть,
убегает в даль зигзагом, в даль, снуя,

как овец, гонимых в преисподнюю,
смерть пасёт и гнёт их в три погибели,
Боже, человек живой бесплоднее
мёртвой птицы, усыпленной рыбы ли,

ты читай на дереве псалмы свои,
в них ночей тоску твою и дней тая,
пусть они баючат, ветви вислые,
путаницу смертную, по ней-то я

и служу на кухне поминальщиком,
мальчик и меняльщик глянца марок я
там, стекает по моим печаль щекам,
и в окне трепещет что-то яркое.

* * *

Ирине Служевской

Говорю: вращенье в барабанах
ворохов недельного белья,
тихие кварталы банных
вечеров, испарина жилья,

говорю: в цирюльнях отрезные
головы на вынос, простыней
полыханье, на закат сквозные
улицы уходят всё темней,

говорю: земли сырые комья
и небес встречаются в реке,
там, за семафором... ни о ком я,
ни о чём... о маленьком мирке.

О богах домашних, недалёких,
горизонт Психея не берёт
с перепугу, умещаясь в лёгких,
и плодов фруктовых полон рот.

Говорю: вот это зеленная,
это бакалейная, где нам,
в том числе и умершим, земная
пища отпускается на грамм...

Пострашнеем — и тогда постигнем,
что иные не живут нигде
так давно, что более — «пусти к ним!» —
и не просятся, — к земле, к воде,

к виноватым превосходствам жизни,
тем, где копошится Божья тварь
в табака душистой горловизне...
Но Эдип ещё ребёнок. Царь.

* * *

Вернуться в этот город? Нет, избавь.
Застиранный, он сел, и я не влезу
рукою в протекающий рукав.
Не выйдет ни по росту, ни по весу.

Ни по душе. Я помню, как Полиб
бежит за сопляком, как тот: «Подкидыш!» —
кричит мне, исторгающему всхлип...
Ты подтвердишь родство? И справку выдашь?

А если оборванец прав? Оставь
мне временный, но дом, способность видеть
не помня ничего, и реку вплавь
позволь не брать, чтоб милых не обидеть.

Полиба нет? Мать потеряла речь?
Я знаю, но тебя не слышу, нимфу...
Хоть неоткуда более извлечь
свидетелей, — не подойду к Коринфу.

* * *

Над засушливым учебником
географии ли, биологии,
где снопы везут, где прививают
пестики к тычинкам,
и заочница идёт с вечерником,
всё стада, всё волоокие
девушки на свете прибывают,
тянутся карандаши к точилкам.

У семян дыханье слабое,
набухание и прорастание,
пишет, машет ли тебе полярник
шапкою-ушанкой,
иль Белову окружают, лапая,
гроздь дышат мироздания,
устья, русла, стебли, и кустарник
за окном акации с Каштанкой.

Луковицы мякоть едкую,
микроскопу вверив неослабную
любопытность, потея телом,
с каплею раствора
йода, — рассмотри, дыша соседкою,
ты ли рисовал похабную

и надписывал картинку мелом,
и в прожекторской дрожал позора.

Истомлённое растение
на тарелке с трещиной и лужицей,
корни стержневые у фасоли,
семядоли, почки,
совести в потёмках угрызения,
что я говорила, слушаться
надо, белые пылают боли,
отмирая в час по чайной строчке.

Всё равно, не я, а он это,
отлетает от меня двойник это,
на него смотри, пока укурюсь
с головой и сгину,
ты какую глупостью так тронута
или чем, душа, проникнута,
лучше помоги, а то расстроюсь,
я не виноват ни в чём, пусти, ну...

* * *

Квартира окнами на Кировский.
Февраль чуть обморочный, вирусный.
Двор сумрачный. Я скоро вырасту.

За дверью чёрной, дерматиновой
тоскливой лентой серпантинной
петляют звуки сонатины той.

Уроки сонные эстетики.
Там разбирают ноты Гедике.
Я «зажимал» её на «Медике».

Смотри: бутылочный и уличный
ложится свет (парок из булочной)
на свитер с бахромой сосулечной.

Смотри: у батареи огненной,
ещё по шляпку в жизнь не вогнанный.
Смотри: заглядываю в окна к ней.

Не вогнанный ещё, не вынутый,
с той, не сливаясь, с той невинно стой.
О, Иванов, во всём продвинутый.

О, скуки нежное святилище,
лекальный сон пюпитра, пыль ещё
в изгибах, полдень музучилища.

Или ещё пылее: техникум.
За горло взятых тем, но тех, никем
не взятых лучше, неврастеником

отчасти, взятых тем вершителем —
приди: вот женщина с сожителем.
На вешалке фуражка с кителем.

* * *

С кем-то я по каменным ступеням,
ровно семь, открыта дверь, иду,
постепенно проступает пенъем
радио контральтным, на свету

мать рояль безмолвно протирает,
в комнату проходит некий тот,
но в другую, рук не простирает
мать ко мне, рояль не видя трёт,

тот на пишмашинке — строчка-зуммер —
за стеною буквится в углу,
жив отец, не помню, или умер,
я хочу спросить, но не могу,

перед праздником паркет начищен,
кубометры комнаты горят
воздухом вины, как вдруг насыщен
он отсутствием всех и всего подряд,

и бесхозный голос, эта мнимость,
то есть — исчезающий вдвойне,
дрогнув паутинкой на стене,
оставляет чистую вместимость.

* * *

Я вотру декабрьский воздух в кожу,
приучая зрение к сараю,
и с подбоем розовым калошу
в мраморном сугробе потеряю.

Всё короче дни, всё ночи дольше,
неба край над фабрикой неровный;
хочешь, я сейчас взволнуюсь больше,
чем всегда, осознанней, верховней?

Заслезит глаза гружённый светом
бокс больничный и в мозгу застрянет,
мамочкину шляпку сдует ветром,
и она летящей шляпкой станет,

выйду к леденеющему скату
и в ночи увижу дальнозоркой:
медсестра пюре несёт в палату
и треску с поджаристой коркой,

сладковато-бледный вкус компота
с грушей, виноградом, черносливом,
если хочешь, — слабость, бисер пота
полднем неопрятным и сонливым,

голубиный гул, вороний окрик,
глухо за окном идёт газета;
если хочешь, спи, смотри на коврик
с городом, где кончится всё это.

БОЛЕЗНЬ

1

Всё это жар.
И абажура шар.
Ажурный, ал.
Ребёнок хнычет, мал.

Рефлектор, блеск.
Спирали лёгкий треск.

Раскалена,
глаза слепит она.

В тот миг, когда
в него метнёт орда
стрел золотых
тоску, чтоб он затих,

дай руку, дай.
Купи мне раскидай.
Китай цветов
бумажных и цветов.

Ещё волчок.
Ещё «идёт бычок...»
Волчок кружит.
Дитя в ночи лежит.

Там довелось
ему спастись, но ось
тоски, ввинтясь,
со смертью держит связь.

Напёрсток, нить.
Её заговорить
избыток слов
я знаю. Радость, кров.

И потому,
когда шагну к Тому,
жизнь сбросив с плеч,
забуду речь.

В той лампа есть ночи,
в той лампа
ночи горящая.
Машинка «Зингер», стрекочи
в столовой слабо.
Тряпьё пропащее.

Там и соткётся вдруг
из света,
из света жёлтого,
как бы замедлив скорость, звук
тоски, и это
тоска животного.

Урчанье, шорох, страх,
по трубам
водопроводная
тоска с захлёбом, впопыхах,
как мышь по крупам,
мне соприродная.

Там в горле я комком,
там в горле,
в слезливой жалости
к себе, свернусь. Пылает дом,
и жар растёрли.
Из этой малости:

любви, и жизни, и
болезни, —

когда закончатся
все три, свой свет себе верни
и в нём воскресни.
Строчи, пророчица.

Под лампой рúки, блеск
челночный,
ушко игольное,
тряпьё пропашее, и треск
тот полуночный,
тоска продольная.

РАЗВОРАЧИВАНИЕ ЗАВТРАКА

Я завтрак разверну
между вторым и третьим
в метафору, задев струну,
от парты тянущуюся к соцветьям

на подоконнике, пахнёт
паштетом шпротным
иль докторской (я вспомню гнёт
учёбы с ужасом животным:

куриный почерк и нажим,
перо раздваивается и капля
сбегает в пропись, — недвижим,
сидишь, — не так ли

и ты корпел, и ручку грыз,
и в горле комкалась обида,

товарищ капсулей и гильз
и друг карбида?),

я разверну, пока второй урок
не слился с третьим,
свой завтрак, рябь газетных строк
гагаринским дохнёт столетьем,

кубинским кризисом своим
пугнёт, и в раме,
дымком из бойлерной кроим,
зажётся Моцарт в птичьем гаме.

(Куда всё это делось? — вот
развёртыванья всех метафор
моих и памяти испод,
и погреб амфор.

Я вижу маму, как мне жаль
её (хоть болен я), и вдруг, в размерах
уменьшившись, уходит вдаль
и, крошечная, в шевеленьях серых,

сидит в углу, тиха.
Тогда-то, прихватив впервые,
как рвущейся страницы шороха́,
шепнуло время мне слова кривые.)

Теперь давай доразверни
свой завтрак. Парта.
Дневного света трубчатые дни
в апреле марта.

* * *

Мать жарит яичницу
на кухне. Подъём.
Лицо твоё тычется
в подушку. Всплакнём.

Всплакнём, моя мамочка.
Зима и завод.
У жизни есть лялочка.
В семье есть урод.

То лампы неоновой
расплыв на снегу,
то шубы мутоновой
забыть не могу.

Фреза это вертится,
с тех пор и не сплю,
цеха это светятся,
с тех пор и люблю,

когда обесточено
и спяще жильё.
К чему приурочено
рождение моё?

Всплакнём, моя мамочка.
В часах есть завод.
У щёчки есть ямочка.
«На выход!» — зовёт.

Прижмись, что ли, к инею
на чёрном стекле.
Мать гнёт свою линию,
покоясь в земле.

* * *

Это некто тычется там и мечется,
в раковину, где умывается, мочится,
ищет курить, в серой пепельнице
пальцев следы оставляет, пялится, пятится,

это кому-то хворается там и хнычется,
ноют суставы, арбуза ночного хочется,
ноги его замирают, нашарив тапочки,
задники стоптаны, это сынок о папочке,

это арбузы дают из зелёных клеток, поди,
ядра, бухой бомбардир, в детском лепете
жизни, дождя, — ухо льнёт подносящего
к хрусту, шуршит в освещении плащ его,

это любовью к кому-нибудь имярек томим,
всякое слово живое есть реквием,
словно бы глубоководную рек таим
тайну о смерти невидимой всплесками редкими,

где твои дочери, к зеркалу дочередь
кончилась, смылись, вернулись брюхатые,
ночи ведь,
где твой сынок, от какой огрубевшие пяточки
девки уносит, это сынок о папочке

песню поёт, молитву поёт поминальную,
эй, атаман, оттоманку полутораспальную,
с ним на боку, хрипящим, потом завывшим,
имя сына перепутавшим с болью, забывшим.

* * *

и одна сестра говорит я сдохну
скорее чем кивая туда где мать
я смотри уже слепну глохну
и уходит её кормить

и другая кричит она тоже
человек подпоясывая халат
хоть и кости одни да кожа
доживи до её престарелых лет

доживёшь тут первая сквозь шипенье
и подносит к старушечьему рту
ложку вторая включает радиопенье
и ведёт по пыли трюмо черту

что кривишься боишься ли что отравим
что на тот боишься ли что отправим
Антигона стирает пыль
есть прямые обязанности мне её жаль

говорит Исмена хоть нанимай сиделку
тоже стоит немалых денег
причитая моет стоит тарелку
за границей вертится брат Полиник

ни письма от него ничего в помине
Антигона кричит и приносит судно
да-да-да да-да-да но о ком о сыне
мать их дакает будь неладна

иль о муже поди пойми тут
то заплачет рукой махнёт отвяжитесь
от Полиника пожелтый свиток
ей одна читает другая выносит жидкость

Аполлоном прочно же мы забыты
говорит одна вечерет и моет другая руки
и сменяет музу раздражённой заботы
Меланхолия муза скуки

потому что выцвести даже горю
удаётся со временем и на склоне
снится Исмене поездка к морю
и могила прибранная Антигоне

* * *

Мать исчезла совершенно.
Умирает даже тот,
кто не думал совершенно,
что когда-нибудь умрёт.

Он рукой перебирает
одеяла смертный край,
так дитя перебирает
клавиши из края в край.

Человека на границах
представляют два слепых:
одного лицо в зарницах
узнаваний голубых,

по лицу другого тени
пробегают темноты.
Два слепых друг друга встретят
и на ощупь скажут: ты.

Он един теперь навеки,
потому что жизнь сошлась
на смерть в этом человеке,
целиком себя лишаешь.

ВОСКРЕШЕНИЕ МАТЕРИ

Надень пальто. Надень шарф.
Тебя продует. Закрой шкаф.
Когда придёшь. Когда придёшь.
Обещали дождь. Дождь.

Купи на обратном пути
хлеб. Хлеб. Вставай, уже без пяти.
Я что-то вкусненькое принесла.
Дотянем до второго числа.

Это на праздник. Зачем открыл.
Господи, что опять натворил.
Пошёл прочь. Пошёл прочь.
Мы с папочкой не спали всю ночь.

Как бегут дни. Дни. Застегни
верхнюю пуговицу. Они
толкают тебя на неверный путь.
Надо постричься. Грудь

вся нараспашку. Можно сойти с ума.
Что у нас — закрома?
Будь человеком. НЗ. БУ.
Не горбись. ЧП. ЦУ.

Надо в одно местечко.
Повесь на плечики.
Мне не нравится, как
ты кашляешь. Ляг. Ляг. Ляг.

Не говори при нём.
Уже без пяти. Подъём. Подъём.
Стоило покупать рояль. Рояль.
Закаляйся, как сталь.

Он меня вгонит в гроб. Гроб.
Дай-ка потрогать лоб. Лоб.
Не кури. Не губи
лёгкие. Не груби.

Не простудись. Ночью выпал
снег. Я же вижу — ты выпил.
Я же вижу — ты выпил. Сознайся. Ты
остаёшься один. Поливай цветы.

**Из книги
«НОВЫЕ РИФМЫ»**

* * *

Тридцать первого утром
в комнате паркета
декабря проснуться всем нутром
и увидеть, как сверкает ярко та

ёлочная, увидеть
сквозь ещё полумрак теней,
о, пижаму фланелевую надеть,
подоконник растений

с тянущимся сквозь побелку
рамы сквозняком зимы,
радоваться позже взбитому белку,
звуку с кухни, запаху невыразимо,

гарь побелки между рам пою,
невысокую арену света,
и волной бегущей голубою
пустоту преобладанья снега,

я газетой пальцы оберну
ног от холода в коньках,

иней матовости достоверный,
острые порезы лезвий тонких,

о, полуденные дня длинноты,
ноты, ноты, воробьи,
реостат воздушной темноты,
позолоты на ветвях междоусобье,

канители, серебристого дождя,
серпантинные спирали,
птиц бумажные на ёлке тождества
грусти в будущей дали,

этой оптики выпад —
из реального в точку
засмотреться и с головы до пят
улетучиться дурачку,

лучше этого исчезновенья
в комнате декабря —
только возвращенья из сегодня дня,
из сегодня-распри —

после жизни толчеи
с совестью или виной овечьей —
к запаху погасших ночью
бенгальских свечей,

только возвращенья, лучше их
медленности ничего нет,
тридцать первого проснуться, в шейных
позвонках гирлянды капли света.

ВОСКРЕСЕНИЕ

Это горестное
дерево древесное,
как крестная
весть весною.

Небо небесное,
цветка цветение,
пусть достигнет ясное
тебя видение.

Пусть ползёт в дневной
гусеница жаре,
в дремоте древней,
в горячей гари,

в кокон сухой
упрячет тело —
и ни слуха ни духа.
Пусть снаружи светло

так, чтоб не очнуться
было нельзя, —
бабочка пророчится,
двуглаза.

* * *

Кириллу Кобрину

О, по мне, она
тем и непостижима,

жизнь вспомненная,
что прекрасна, там тише мы,

лучше себя, подлинность
возвращена сторицей,
засумерничает леность,
зеркало на себя засмотрится.

Ты прав, тот приёмник,
в нём поёт Синатра,
я тоже к нему приник,
к шушанью его нутра,

это витание
в пустотах квартиры,
индикатора точки таянье,
точка, тире, точка, тире.

Я тоже слоняюсь из полусна
в полуявь, как ты,
от *Улицы младшего сына*
до *Четвёртой высоты*.

Или заглядываю в ящик:
марки (венгерские?) (спорт?),
и навсегда старьёвщик
из *Судьбы барабанщика*, — вот он,

осенью, давай, давай, золотись,
медью бренчи,
в пух и прах с дерева разлетись,
«Старьё берём!» прокричи.

В собственные ясли
тычься всем потом.
Смерть безобразна, если
будет её не вспомнить потом.

НАКАНУНЕ

Вдруг такая сожмёт сердце,
такая сердце сожмёт, гремя,
поезд, под железным стоишь, в торце
улицы, слышишь, как время

идёт, скоро, скоро уже холодно,
будет молчать хорошо,
под ногами первое легло дно,
первая под ногами пороша,

и как будто мира все лучи, все
в точке жизни моей, не найдя,
собрались, не найдя меня, чище
не бывает высвеченного изъятья,

и пора заводить стороннюю
песню радости, витрин Рождества,
и билетик проездной, роняя
по пути перчатку детства,

доставать, вон туда идти, мимо
свай, а из перчатки пусть,
сдутой ветром, потерянной, как письмо, —
пульс вобравший, прорастает куст.

ШАХМАТНЫЙ ЭТЮД

Шахмат в виде книжки
пластмассовые прорези,
по бокам для съеденных фигур стежки
столбиком, резные ферзи,

пешки-головастики, ладьи,
в шлемах лаковых слоны,
я пожертвую собою ради
жёлтого турнира в клубе — лбы наклонны

над доской — Чигорина,
в клубе, на Желябова, —
гóря, гóря — на! много гóря — на! —
как уйти от продолженья лобового? —

инженеры в жёлтом
свете с книжечками шахмат,
о, просчитывают варианты, шёл в том
снег году, пар у дверей лохмат,

шёл в том, говорю, году
снег и кони Аничковы
Четырёх коней
помнили дебют и рвались на свободу
от своих корней всё непокорней,

две ростральные зажгли
факелы ладьи, Екатерины
ферзь шёл над своею свитой, в тигле
фонаря зимы сотворены —

белые кружились в чёрном,
инженер спешил домой,
в одиночестве стоял ночном
голый на доске король Дворцовой,

жертва неоправданна была,
или всё сложилось, как та книжка,
где фигуры на ночь улеглись, где их прибило
намертво друг к другу, нежно,

и никто не в проигрыше, разве
ты не замирал в Таврическом саду,
в лужах стоя, Лужин, где развеян
и растаян прах зимы, тебя зовут, иду, иду.

ТЕАТР

Свет убывает, в темноте
поднимут занавес,
дохнёт со сцены — я секунды те, —
сырым холстом, прохладой, — о, я помню весь.

Макарова: «Светает... Ах!» —
и пухленько бежит к часам, — «седьмой,
осьмой, девятый», и ленивый вздох
Дорониной, дородной ведьмы,

в кулисах, дышит и вздымает грудь.
Их простодушное притворство,
их обезьянничанье. Взять бы в прутья
створ сцены, створ

вдруг освещён, театр, театр,
от слова «бельэтаж» идёт сиянье,
вращающийся круг, к вам Александр
Андреич Юрский, на Фонтанке таянье

и синеватый и служебный свет,
экзаменационный воздух.
Где ж лучше? Где нас нет.
Нас двух автобус двадцать пятый вёз, о, вёз двух,

мы в тёмном уголке, вы помните? вздрогнём
у батарей в парадной,
когда проезжих фар окатит нас огнём
и перспективу обратной.

Гонись за временем, гонись,
дверь скрипнет, ветерок скользнёт, и
за ним Лавров с бумагами-с,
и фиолетовые фортепьяно с флейтой ноты

захлопнуты. Его ли предпочтёшь на выпускном
балу,
созвездье ли манёвров и мазурки?
Театр, о, монологи с пылу,
бинокли, жестяные номерки,

Стрельчик жив ещё, внутри фамилии
своей весь в мыле проскоца,
бежит ли вдоль Фонтанки, «нон лашьяр ми...» ли
поёт, театр, сверкают очи,

он пьян, он диссидент, вон, вон
из Ленинграда, в Ленинграде
спектакль закончен, мост безумный разведён.
Вы раде?

Я призван этот клад зарыть,
точнее — молвить слово
во имя слова: ах, что станут говорить
Карнович-Валуа и Призван-Соколова?¹

СКВОЗЬ ТУННель

Как, единственная,
я тебя избывал,
жизнь истинная,
от себя избавлял,

чтобы и ты не особенно
привыкла ко мне.
Не просил согбенно,
себя не помня:

будь со мной. Дремля,
спал. Или шёл, идя.
Поезд в землю
с земляного покрытия

уносил. Вот место
земли и неба,

¹ В стихотворении упоминаются фамилии актёров, игравших в знаменитом «Горе от ума» Г. А. Товстоногова; цитаты, данные в основном без кавычек, соответствуют грибоедовской орфографии.

где ты всегда есть то,
что не может не быть,

ты внезапный стог
света, ты моя —
прошив тьмы сгусток —
жизнь истинная.

ГОЛЬДБЕРГ. ВАРИАЦИИ

1. 1955 ГОД

Гольдберг, Гольдберг,
гололёд
в Ленинграде, колкий — сколь бег
на коньках хорош! народ —
лю-ли, лю-ли, ла-ли, ла-ли —
валит, колкий снег, вперёд.

Гольдберг мимо инженерит
всех решёток, марш побед,
пара пяток, двери пара,
фары, фонари, нефрит
улиц хвойного базара,
парапет.

Блеск витрины, коньяки леском
и ликёры, зырк, и сверк, и зырк,
апельсины в Елисейском
покупает Гольдберг, Гольдберг —
будет жизни цирк
вскачь и впрок.

К животу он прижимает куль
и летит, дугою выгнув нос,
а двуколка скул,
а на повороте вынос,
Гольдберг, коверкот, каракуль,
коверкот, каракуль, драп.

Сколько кувырков и сколько
жизни тем, кому легка.
Пусть в прихожей Гольдберг — колкий
тает снег — споткнётся-ка:
катятся цитрусовые из кулька,
Гольдберг смеётся, смерть далека.

2. ОТПУСК

Лимана срезанный лимон.
Зеленоватый блеск.
На грязях.
Евпаторийское (евреи, парит, сонно).
Всем животом налёг на берег, вес к
песку и с лёгкою лентой во фразах.

(А Фрида, Гольдберг,
Фрида в тех тенях, —
за ставнями твоя сестра с кухаркой.
Час, каплющий с часов настенных,
как масло, медленный и жаркий.
Чад, шкварки.)

Вдруг запоёт из Кальмана — платочек
в четыре узелка на голове —

«Частица чёрта в нас»,
примёт проточных
мир, ящерица — чуть левой
фотомгновения — зажглась.

Пульсирующая на виске
извилистою жилкой мира —
вот, Гольдберг, вот —
на камне ящерица, высверк, брень пунктира.
Встал и спугнул, в полупеске
полуживот.

(А Любка, Гольдберг,
а кухарка Любка —
смех однозуб,
плач — кулачок в глазу, о, Тот, Кто в хлюпко-
её-придурковатую роль вверг,
Тот в нежности Своей не скуп.)

Разнообразье: что ни особь,
то — дивная! Он — с полотенцем полдня
через плечо — идёт домой, он, россыпь
теней листвы вбирая
и ватой сахарной рот полня, —
в аллеях рая.

3. ШАХМАТНАЯ

Он сгоняет партишку сейчас
с мной, ребёнком,
он сгоняет партишку, лучась
хитрым светом, косясь и лукавясь,

*Смейся, смейся, паяц, — он поёт, в его тонком
столько голосе каверз.*

Он замыслил мне вилку, и он
затаится,
и немедленно выпрыгнет конь
из-за чьей-то спины со угрозой,
Шах с потерей ладьи, — восклицает, *двоится*
мир и виден сквозь слёзы.

Гольдберг, что бы тебе в поддавки
не сыграть бы,
нет, удавки готовишь, зевки
не прощаешь, о, Гольдберг коварист,
Заживёт, заживёт, — запевает, *— до свадьбы,*
он и в ариях арист.

Он артист исключительных сил,
он свободен,
а с подтяжками брюки носил,
а пощёлкивал ими, большие
заложив свои пальцы за них, многоходен,
Гольдберг, *Санта Лючия!*

4. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Но булочки на противне,
но в чудо-печке,
но с дырочками по бокам,
сегодня будет в красном, Гольдберг, рот вине,
на пироге задуешь свечки,
взбивалкою взобьёшь белок белкám.

Тем временем я с мамою
из дома выйду
и — на троллейбус номер шесть,
и душу, Гольдберг, всполошит зима мою,
такая огненная с виду
и вместе чёрная. Я, Гольдберг, есть.

Я знаю кексы в формочках,
мой бог, с изюмом,
раскатанного теста пласт,
проветриванье кухни знаю, в форточках
спешащие с нежнейшим шумом
подошвы, приминающие наст.

На площади Труда сойти,
потом две арки,
прихожей знаю тесноту,
туда я посвечу, а ты сюда свети,
Какие гости! где подарки?
Морозец! ну-ка, щёчку ту и ту!

А вот и вся твоя семья,
ты посередке, обе с краю.
Всё есть, всё во главе с тобой.
А кто сыграет нам сегодня, Гольдберг? — я,
сегодня я как раз сыграю,
а ты куплеты Курочкина пой.

5. ПЯТНИЦА

По пятницам, — а жизнь ушла
на это ожиданье пятниц

(не так ли, дядька мой неитальянец?) —
от будней маленьких распятыц, —
ты во Дворец культуры от угла
стремишь свой танец.

Какой проход! В душе какой
(на предвкушенье чудной жизни —
не так ли, родственник шумнообеспечный? —
жизнь и ушла в чужой отчизне,
в той, где бывают девушки с киркой)
пожар сердечный!

Участник нынче монтажа
по Гоголю ты Николаю.
«Вишь ты, — сказал один другому...» Слышу.
И, помню, перед тем гуляю
с тобою, за руку тебя держа.
Ты, Гольдберг, — свыше.

«Доедет, — слышу хохот твой, —
то колесо, если б случилось,
в Москву...» О, этим текстом итальяйским
как пятница твоя лучилась,
всходя софитами над головой,
на радость близким!

Премьера. Занавес. Цветы.
Жизнь просвистав почти в артистах,
о спи, безгрёзно спи, зарыт талантц
хоть небольшой в пределах льдистых,
но столь же истинный, сколь, дядька, ты
неитальянец.

ПРОЛИСТЫВАЯ КНИГУ

Вдоль холода реки — там простыня
дубеет на ветру, прищепок птицы,
в небесной солнце каменное сѣни,
и безоконные домов торцы,

то воздуха гранитный памятник,
и магазина огурцы и сельдь,
то выпуклый на человеке ватник,
и в пункт полуподвальный очередь,

и каждый божий миг рассвет и казнь,
сплошное фото серых вспышек,
и нелегальной жизни искус,
кружки и типографский запашок, —

вдоль холода реки — там стыд парадных
прикрыт дверей прихлопом, «пропади
ты пропадом!» — кричат в родных
краях, не уступив ни пяди

жилплощади, то из тюрьмы на звук
взлетит Трезини, ангелом трубя,
собор в оборках, первоклассник азбук,
закладки улучѣнный миг тебя.

ЦПКиО

Алёне и Льву Рейтблатам

ЦПКиО, втоскуюсь в звук, в цепочку —
кто — Кио? Куни? — крутят диски цифр —

в цепочку звука, в крошечную почву
консервной рыболовства банки «сайр»

(мерещь себя, черёмуха, впотьмах,
сирень, дворы собой переслади:
жизнь — это Бог, в растительных сетях
запутавшийся, к смерти по пути), —

перемножение шестизначных гидр
в уме, в своём уме, о, на открытом,
о, воздухе, о, лабиринты игр,
о, фонари Крестовского над Критом,

центральный парк, овчарки сильных лап
опаловые полукружья,
и небу над Невой преподнесённый залп
букета фейерверка из оружия,

палёным пороха пахнёт хвостом,
все рыбаки всех корюшек, все лески,
дохнёт вода газетой, под мостом
меня шрифт и медля в тяжком блеске,

и вновь гигантские перенесут шаги
на острова колёс прозрачных обозренья,
и вот на воинства бегущих крон мешки
набросит ночь, и сон-столпотворенье

завертит диски, и на них — циклопа о
горящем глазе — бросит фокусника детства,
гаси арены циркульной соседство
и на цепочку звук замкни: ЦПКиО.

ФУТБОЛ

Комнаты координат протяженье.
Батарея зимой горяча.
Рябовато-голубое притяженье.
Справа по флангу идёт Гарринча.

Наши микрофоны установлены.
Маракана, где ты, в Рио?
Спит отец в ковёр лицом, и волны
времени его несут незримо.

Мяч выбрасывают из-за боковой.
Корнер. Почему ты *корнер*?
Бисер лиц трибуною-подковой
нависает. Шорох смерти сер.

Стадион-гнездо какое свили,
ухо шума! Вот они, стихи,
где на тёплом счастьеце нас провели,
сладком звуке: *метревели-месхи!*

Но за это протяжение ни шагу.
Только здесь твой лексикон.
Так прислушивайся к шарку,
пробивай свободный, будь изыскан.

Кто по коридору ходит, щёлком
зажигает электричество и вещи?
*Весь живёшь, не станешь целиком
тоже, и тогда слова ищи-свищи.*

На одном финте, но от опеки
отрывается Гарринча к лицевой,
и подача на штрафную, мяч навеки
зависает — спит и видит — над травой.

КОСНОЯЗЫЧНАЯ БАЛЛАДА

Я этим текстом выйду на угол,
потом пойду вдали по улице, —
так я отвечу на тоски укол,
но ничего не отразится на моём лице.

Со временем ведь время выветрит
меня, а текст ещё уставится
на небо, и слезинки вытрет вид
сырой, и в яркости пребудет виться.

Он остановится у рыбного,
где краб карабкает аквариум
с повязкой на клешне, и на него
похожий клерк в другом окне угрюм.

А дальше нищий, или лучше — ком
тряпья, спит на земле, ничем храним,
новорождённым спит покойником,
и оторопь листвы над ним.

Жизнь, всё забыв, уходит заживо
на то, чтобы себя поддерживать,
и только сна закладка замшево
сухую «смерть» велит затверживать.

Прощай, мой текст, мне спать положено,
постелено, а ты давай иди
и с голубями чуть поклюй пшено,
живи, меня освободи.

ИЛИАДА. ДВОЙНОЙ СОН

Григорию Стариковскому

В сон дневной уклонясь
 благотворный,
на диване в завешенной
 комнате,
где забвения краткого угли нас
греют и предстаёт жизнь иной
 и беспорной, —

там проснуться как раз
 ранним летом,
внутри сна, на каникулах,
 двор в окне —
его держит полукругом каркас
лип, и мальчиков видеть в бликах,
 в дне нагретом.

Солнце видеть во сне,
 копьеносных,
кудреглавых и вымерших
 воинов,
спи всё дальше и дальше и ревностней
убаюкивай себя в виршах
 перекрёстных.

Лук лоснится, стрела,
перочинный
ножик всласть снимает кору,
десятый
год осады мира тобой, и светла
неудвоенной жизни пора,
беспричинной.

Сладко спи под морской
шум немолчный,
покрывалом укрытая
шёлковым
жизнь, не ведающая тоски мирской.
Длись, золотистость игры тая,
сон солнечный.

Там Елена твоя,
с вышиваньем,
за высокой стеной сидит,
юная,
и в душе твоей ещё невнятная,
но — звучит струна, своим грозит
выживаньем.

Или лучше, чем явь,
краткосмертный
сон? — одно дыханье сулишь
чистое.
Облака только по небу и стремглавь,
доноси эхо ахейн лишь,
голос мерный.

Вечереющий день
ещё будет,
не дождёшься ещё своих
родичей
сердцем, падающим что ни шаг, как тень.
Пусть вернутся домой, пусть живых
явь не будит.

В летней комнате тишь,
пол прохладный,
тенелиственных сот стена,
Елена
снится комнате, шелест в одной из ниш —
то покров великий ткёт она
и двускладный.

Ты на нём прочитай
рифмой взятый
в окруженье текст сверху вниз:
трусливо
девять строф проспал ты, теперь начинай
бесстрашью учиться и проснись
на десятой.

«ПОЛИГРАФМАШ»

Завод «Полиграфмаш», циклопий
твой страшный, полифем, твой глаз
горит, твой циферблат средь копей
горит зимы.

Я в проходной, я предъявляю пропуск
и, через турникет валясь,
вдыхаю ночь и гарь — бедро, лязг, —
валясь впотьмы.

Вот сумрачный народ тулупий
со мной бок о бок, маслянист
растоптанный поодаль вкупе
с тавотом снег,
цехов сцепления и вагонеток,
лежит сталелитейный лист,
и синим сварка взглядом — огонь, ток, —
окинет брег.

Слесарный, фрезерный, токарный,
ты заусенчат и шершав,
завод «Полиграфмаш», — угарный
состав да хворь —
посадки с допусками — словаря, — вот,
смотри, как беспробудно ржав,
сжав кулачки, сверлом буравит,
исчадьё горь.

Спивайся, полифем, суспензий
с лихвой, и масел, и олиф,
резцом я выжгу глаз твой пёсий,
то жёлтый, то
гноино-зелёный, пей, резец заточен,
он победитовый, пей, скиф.
Людоубийца, ты непрочен.
Я есть Никто.

Завод «Полиграфмаш», сквозь стены
непроходимые, когда
под трубный окончання смены
сирены вой
ты лыко не вязал спьяна, незрячий,
я выводил стихов стада,
вцепившись в слов испод горячий
и корневой.

ПО КИРОВСКОМУ

Свидетель воздуха я затемнений
различной степени, особенно
когда изрядна морось в городе камней.
И вдруг «ко мне!» услышишь, — незабвенно

косым она прыжком — с хозяином.
«Всё на круги...» — неправда мудрости.
Ведь что ни миг — то в освещении *ином*.
И в этом жёсточь совершенной грусти.

Дворы, дворы. Куда ни глянь — дворы.
Выходишь за полночь, — иди, тебя
ждут разбегающиеся раздоры
над головой лиловых облаков, рябя.

В кустах глаzá бутылочки привиделись,
склянь чеховской, разбитой, колкой.
Какой счастливой, жизнь, ты выдалась, —
столь, сколь (глянь-склянь) недолгой.

С последней точностью внесёт поправки
пусть память, выплески домов распознаны
в документальной ленте Карповки,
отсняты отсветы и тени дна расползаны.

То увеличиваясь тенью в росте,
то со стены себе ложишься под ноги, —
проход непререкаем в достоверности
своей, небытие немислимо, на ветках боги.

В СТОРОНУ ДЗЕРЖИНСКОГО САДА

Льву Дановскому

По-балетному зыбки штрихи
на чахоточном небе весеннем.
Где то время, в котором стихи
сплошь казались везеньем?

Где Дзержинский? Истории ветр
сдул его с постамента. О, скорый!
Феликс, Феликс, мой арифмометр,
мой Эдмундович хворый.

Мы с тобой по проспекту идём
между волком такси и собакой
алкаша. Дело к мартовским идам.
Ида? Что-то не помню такой.

Где Дзержинский? Решётка и ржа.
Глазированные в молочном

есть сырки, златозуба кассирша.
Отражайся в витрине плащом.

Мы идём с тобой мимо реальных
соплеменников, рифма легко
нам подыгрывает с мемориальных
досок — вот: архитектор Щуко.

Мы с тобой — те, кто станет потом
нашей памятью, мы с тобой повод,
чтобы время обратнейшим ходом
шло в стихи по поверхности вод.

Вот и пруд. Так ловись же, шуко,
и держись на крючке, чтобы ида
с леденцами за бледной щекой
розовела в прекрасности вида.

Чтобы северный ветер серов
нас не стёр, не развеял, стоящих
у моста, за которым есть остров,
нас, ещё настоящих.

С ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО

Листья мети, человек,
листья мети, безъязыкий,
где-то ты мальчик и, ловок,
скачешь верхом за рекой,

на деревянном коне
скачешь, и вырастешь странно,

будешь мести в заоконье
золото дальней страны,

ты и в костюме жених
на фотографиях, ты и
с ветром за листья в сраженьях
дни коротаешь свои,

этих людей ещё как
звали? — папаша с мамашей,
щёлкал костлявый на счётах,
словно выщёлкивал вшей,

грузная мыла полы,
юбка её колыхалась,
листья мети, невесёлый,
осени чистую грязь,

после под лестницей сядь,
двор наклонившийся залит
светом, и вычти все десять
или одиннадцать лет.

Из книг
«ВЕЧЕРНЕЙ ПОЧТОЙ», «ДОЛГОТА ДНЯ»
И «ТИХОЕ ПАЛЬТО»

* * *

Мало ли, что хрустят
тонкие кости души,
мало ли, чем объят,
слóва не напиши,

вон человек с ведром
возле помойки, вон
рыжим с небес ядром
тусклый цинк оживлён,

медно-кухонный быт,
бледно-подённый труд,
нет у меня обид,
нет и души вот тут,

вон человека шаг
лужи цветной в обход...
Господи, так всё. Так.
Господи, вот я. Вот.

* * *

Дай бессмысленного слова нежного,
свежего, как ветвь с надломом,
связка жил древесных неизбежная
в воздухе дрожит бездомном.
Из двоих привязанность
сохранить последнему страшней,
ясный ужас ветви, темносказанность
сил, ещё пульсирующих в ней.

* * *

Тёмная дорога тёмная
с белым мотыльком.
Разве здесь твоё искомое?
Никогда. Ни в этом и ни в том.

Тёмная дорога с жёлтыми
листьями о нём не говорит.
Едкой плотью яблоко тяжёлое
только изнутри себя творит.

Только пробирая до оскомины,
смыслы прорастают, как плющи,
всей дрожбою тёмного искомого.
Где не надо — там и отыщи.

Нет ему лица, оно отвержено,
но и вспыхнет яблоком во тьму
будущего слова свет, процеженный
дебрями растущего к нему.

* * *

О, вечереет, чернеет, звереет река,
рвёт свои когти отсюда, болят берега,
осень за горло берёт и сжимает рука,
пуст гардероб, ни единого в нём номерка.

О, вечереет, сыреет платформа, сорит
урнами праха, короткие смерчи творит,
курит кассир, с пассажиркою поздней острит,
улица имя теряет, становится стрит.

Я на другом полушарии шарю, ища
центры, в обширных, как скука, провалах плаща,
эта страна мне не впору, с другого плеча, —
впрочем, без разницы, если сказать сгоряча.

Разве поверхность почище, но тот же подбой,
та же истерика поезда, я не слепой,
лучше не быть совершенно, чем быть не с тобой.
Жизнь — это крах философии. Самой. Любой.

То ли в окне, как в прорехе осеннего дня,
дремлет старик, прохудившийся корпус креня,
то ли ребёнка замучила скрипкой родня,
то ли захлопнулась дверь и не стало меня.

* * *

Я возьму светящийся той зимы квадрат
(вроде фосфорного осколка
в чёрной комнате, где ночует ёлка),
непомерных для нашей зарплаты трат,

я возьму в слабеющей лампе бедный быт
(меж паркетинами иголка),
дольше нашего — только чувство долга,
Богом, радуйся горю, ты не забыт.

Близко, близко поднесу я к глазам окно
с крестовиной, упавшей тенью
на соседний дом, никогда забвенью
поглотить этот жёлтый свет не дано.
И лица твоего я увижу овал,
руку с лёгкой в изгибе ленью,
отстранившую книгу, — куда там чтенью,
подниматься так рано, провал, провал.

Крики пьяных двора или кирзовый скрип,
торопящийся в свою роту,
подберу в подворотне, подобной гроту,
ледяное возьму я мерцанье глыб,
со вчера заваренный я возьму рассвет
в кухне... Стало быть, на работу...
Отоспимся, радость моя, в субботу.
Долго нет её, долго субботы нет.

А когда полярная нас укроет ночь
офицерской вполне шинелью,
и когда потянется к рукоделью
снег в кругах фонарей, и проснётся дочь,
испугавшись за нас, — помнишь
пламенный труд
быть младенцем? — то, канителью
над её крахмальной склонясь постелью,
вдруг наступят праздники и всё спасут.

Я посвящу тебе лестниц волчки,
я посвечу тебе там,
сдунуло рукопись ветром, клочки
с древа летят по пятам,

в лестницах, как в мясорубках, кружа,
я посвящу тебе нить
той паутины, с которой душа
любит паучья дружить,

лестниц волчки, или власти тычки,
крик обезьян за стеной,
или оркестра косые смычки
марш зарядят проливной,

гостя, за маршем берущего марш,
я посещу ту страну,
где размололи не хуже, чем фарш,
слабую жизнь не одну,

вешалок по коридору крючки,
я посвечу тебе в нём,
на два осколка разбившись, в зрачки
неба упавший объём,

надо бумагу до дыр протереть,
чтобы и лист, как листва,
мог от избытка себя умереть,
свет излучив существа.

* * *

Озера грудной разрыв.
Белок горловых комки.
Ветра мысль недоразвив,
стихло дерево. Ни зги.

Дымная навывлет хлябь.
Обморочный ночи рост.
Рёбрами худеет рябь
в кварцевом продроге звёзд.

Речью я протру глаза.
Горе больше нечем крыть.
Вижу, что уже нельзя
видеть и не полюбить.

* * *

Долгие cedятся осени поздней часы,
чаша дежурств опрокинутым небом ночных,
помыслов нет никаких, потому и чисты,
чище забытого запаха лилий речных,

тесных маячат бытовок моих поплавки,
сдавшихся строем деревьев знамёна сожгли,
крышка бренчит фонаря, отмеряя кивки,
дышат олени, вплотную к реке подошли,

вот прозябанье счастливое, так прозяять
треть своей жизни — я даже в уме не держал,

где ты идёшь в эту пору, мне лучше не знать,
вахтенный цифрами я заполняю журнал,

ты, вдохновенье, меня поднимай из золы,
нет, не она — мне дороже волнение о ней,
слышу, как ветер колеблет и гонит валы,
звёздное вижу я столпотворенье огней,

ты поднимай, вдохновенье, меня, поднимай,
выпадом звука внезапного опереди,
не принимай моей пошлости, не понимай
всей этой осени, вырвавшейся из груди.

* * *

Тому семнадцать, как хожу кругами
вокруг постов своих сторожевых
над реками, семнадцать берегами
я лет хожу в пространствах нежилых,
дыханием моим за стадионом
отопленных, с футбольною землёй,
раскомканной, под воздухом бездонным
всё началось, кипящею смолой
на дальних пустырях, с теней в бушлатах,
с вагончиков отцепленных, тому
назад семнадцать, с вечера поддатых,
смурных и сократившихся до СМУ
с утра, когда, бредя с автостоянки,
я согревался начатым в глухом
углу одной бытовки у жестянки
с окурками спасительным стихом,

продолженным в заснеженных колоннах
Елагина на шатком топчане,
среди котлов, на угле раскалённых,
волчат огня, в своей величине
разогнанных до высыпавшей стаи
шипенья на рождественском снегу,
семнадцать, как губерния пустая
пошла и пишет через не могу
раскуренным стихом на финском фоне,
над мёртвой рыбой с фосфором из глаз,
в другой бытовке скуку на Гудзоне
развевшим и конченным сейчас.

* * *

Трезвые наступают дни.
Точно спиртовок горят огни.
То на востоке взошла звезда.
Я не могу не смотреть туда.

В церкви сегодня поют с утра.
В путь собрались те, кому пора.
Вышли — и светом глаза прожгло.
Римское воинство снега шло.

Ясные наступают дни.
Пусть одиноки, но не одни.
Точно прильнули к доске дверной, —
так только может молчать живой.

Остановка над дымной Невой,
замерзающей, дымной,
чёрный холод зимы огневой —
за пустые труды мне,

хищно выгнут Елагин хребет,
фонари его дыбом,
за пустые труды этот бред
в уши вышептан рыбам,

за гранёный стакан на плаву
ресторана «Приморский»,
за блатную его татарву
в мерзкой слякоти мёрзкой,

то ль нагар на сыром фитиле,
то ли почва паскудна,
то ли небо сидит на игле
третий век беспробудно,

в порошок снеговой ли сотрут
этот город ледащий
за пустой огнедышащий труд,
в ту трубу вылетавший,

или «нет» говори, или «да»,
Инеадой вдоль древа,
чёрной сваей за стёклами льда,
вбитой в грудь мою слева.

ЛВУ ДАНОВСКОМУ

Я пью за немногих, но верных...

Кн. Пётр Вяземский

За хмельной, предвоскресный
вечер, город окрест,
за «Вакхической песни»
просветительский жест,

за сиденье по кухням,
за январь на дворе,
за «Дубинушка, ухнем...»
у соседа в норе,

за жильё по лимиту,
за бессмертный, навек
в жёлтом доме зарытый
твой талант, имярек,

за поэта — не волка,
за спокойный рассказ
той, которую долго
Бог спасал, но не спас,

за любовь, что косила,
приручая враньё,
за внезапную силу
обойтись без неё,

за платформу на Лахте,
электрички огни,
за пустые на вахте
мои ночи и дни,

за спустившийся наземь
снег окраины всей,
как завещано князем,
за немногих друзей.

* * *

Господи, в комнату вошёл в семь часов,
в сумеречное осенью время дня,
прислонился, рифмою заперся на засов,
пустота обнюхала в дверях меня

и уползла туда, где нет ни души,
снял ботинки, сделал три шага, лёг,
что-то подумал, вроде «фонарь туши»,
но не горел он, и разобрать не смог,

в сон проваливаясь почти,
абсолютно проснулся, открыл глаза —
пустота ли пробовала вползти
снова в комнату и устроить в ней чудеса

(то есть зеркало, кресло устроить, шкаф, —
без свидетелей; то есть когда с вещей
имена, снимаясь, гуськом в рукав
улетают, в отдельный рукав ничей) —

или жара младенческого донёсся шип
и вращение одновременно ста
чёрных дисков с глазами уснувших рыб,
и душа безвидна была и пуста, —

потянулся к лампе, чтобы глагол «зажечь»
промелькнул в уме и осветил тетрадь,
и открыл тетрадь, чтобы возникла речь,
и сказал «Господи», чтобы Он мог начать.

* * *

Лучшее время — в потёмках
утра, после ночной
смены, окно в потёках,
краткий уют ручной.

Вот остановка мира,
поршней его, цепей.
Лучшее место — квартира.
Крепкого чая попей.

Мне никто не поможет
жизнь свою превозмочь.
Лучшее, что я видел, —
это спящая дочь.

Лучшее, что я слышал, —
как сквозь сон говоришь:
«Ты кочегаркой пахнешь...» —
и наступает тишь.

* * *

Открой окно, ползущего червя
услышь в траве — извилистый, сырой,

своим подземным помыслом черня
ещё сильнее ночь, — открой, открой,
открой огонь чердачный ночевья

ему навстречу, — медленный, ползёт,
готовя для трагедий черепа.
Открой, вбирай глазами — парой сот —
мёд бытия: шевелится тропа,
когтит добычу хищный небосвод,

и ты невероятно жив, раз ты
забыт, разлюблен иль приговорён
болезнью, и, ценитель наготы,
пирует червь, и ночь со всех сторон,
и мотыльки, как маленькие рты,

лопочут: «Прах», слетаясь с похорон.

* * *

...и сосны, как церковный хор, стоят,
и хвойный воздух сух, и мёртвым спится,
как будто впрямь они сестра и брат
и до сих пор не могут разлучиться.

Скажи мне, где любовь среди утрат?
Во что она могла пресуществиться?

Не знаю где. Но разве ты не рад
и книга пред тобою не раскрыта?
Тогда читай: вот Айн, вот Маргарита...

Я ухожу к заливу, зыбких нив
минуя золотистые колосья,
и, руки под землёй соединив,
они идут за мною на обрыв,
и волн морских растёт многоголосье.

* * *

В бронхах это хрипит Бронкса
поезд метро, кренясь,
это закатная залита в лица бронза,
это жилья в разбросах
зоологических рёбер горит каркас,

это в поте лица пятниц
скарб, маскарад, огни,
пряные это дымки и закуты пьяниц,
просят, но как-то пятясь,
спи, — бормочу, сторонясь, — мой беби, усни,

мусор это рябит, синий
вечер уставит в стол
тяжкие локти, засмотрится ли разиня —
от корзины к корзине
всё мускулистый колышется баскетбол,

спи, мой беби, усни сладко,
спи не как человек, —
то ему пир приснится горою, то свалка,
всякое зрелище жалко,
если его к Рождеству не засыпет снег.

* * *

Чудной жизни стволы,
чудной жизни извилистой
не увидишь, сгорев до золы,
зелень, зелень сквози листвы,

лягушачий твой пульс
тонкой ветвью височную
замедляясь в согласных — «ветвлюсь» —
говорит и, высь точную

в гласных бегло явив,
нотной тенью пятнистую
по земле пробегает, прилив
света в запись втянись мою,

без остатка втянись,
чтоб не знали о пролитом
дне ушедшие намертво вниз,
чтоб не ведали боли там,

равной тленья крупиц
тяге — смерти перечашей —
тяге: зыблемый воздух границ
зреньем вспять пересечь ещё.

* * *

Свободней говори, пожалуйста,
вот так, вслепую, наизусть,
хребтом уходит рыбьим шпалистый
трамвайный путь,

трамвайным пустится, не сетуя,
пусть бесподобная душа,
по снегу тающему спетая
в сердцах, левша,

пылает вдаль Красноармейская,
желтеет, слухом отлови,
как речь густая, арамейская
живёт в крови,

желтеет на углу, пульсирует,
увязан в сноп собор как есть,
и между ним и мной курсирует
сквозная весть,

сквозная ветвь, сюда и метили,
когда дыханием зажглись...
Теперь ты не боишься смерти ли?
Свободней, жизнь.

УТРЕННИЙ МОТИВ

На асфальте мечется
мышь, кыш, мышь,
сторож это, сменщица,
мусорщик, малыш,

семенит цветочница,
шарк, шурк, шарк,
точность мира точнится,
в арках аркнет арк,

взрыв бенгальский сварщика,
сверк, сварк, сверк,
голубого росчерка
меркнуть медлит мерк,

льётся, не артачится
свят свет свит,
тачка утра тачится,
почтальон почтит,

Чарли это брючится,
блажь, мышь, блажь,
ночь в чернилах учится
небу тихих чаш,

пусть проходят где-нибудь,
клёш крыш клёш,
душу учит небо ведь
простирается сплошь.

* * *

На что мой взгляд ни упадёт,
то станет в мир впечатлено.
Отёчный свет аптек придёт
из переулочных темно.

За ним туманный гомон бань,
где пухнет матовая мгла
и в гардеробе горбит брань
худую спину из горла.

За ним убожество больниц,
где выдыхают жизнь плашмя,
или иконы бледных лиц
глядят, как мать сидит кормя.

Пусть известковых стен подъезд
и подворотни грубый грот
дырявят плоскость этих мест —
на чёрный день есть чёрный ход

и есть материя стиха,
когда выныриваешь вдруг
на ленинградские снега.
Бери. Они из первых рук.

ШАХМАТЫ

(Подстрочник)

Лакированная шахматная доска.
Аппетитный грохоток высыпанных фигур.
Взмах клетчатых крыльев —
и квадратная бабочка опускается на стол.
В двух кулачках прячется первый ход,
который тебе не нужен, но достаются белые.
Робкое движение крайней пешки.
Так не ходят, переходи. И ты ступаешь как все.
Едва ступаешь, но ступаешь. Едва.
«Дебют четырёх коней» и «Сицилианская защита»
запоминаются благодаря гордому звуку,
но не далее примерно пятого хода.

А далее — ты начинаешь зевать и посматривать
за окно,
думая: плевать,
и учишься сдерживать слёзы
и примиряться со своей бездарностью.
(Позже, когда тебя пытаются поймать на зевке, —
ты становишься подозрительным.

И более искусным.

Хорошая игра требует дурного характера,
и только когда попадается партнёр слабее тебя,
ты понимаешь, что всё-таки лучше *быть*
побеждённым,
чем видеть его.)

Итак, ты учишься любить фигуры бескорыстно,
за их устойчивую красоту, не за намерение:
диагонально-хищный взгляд офицера на ладью
или выпрыг коня на развилку двух
разлучающих навсегда королевскую чету
дорог.

В отчаянии ты пытаешься рокироваться,
но — так не ходят,
и ты чувствуешь то же, что твой король,
пересекающий битое поле, —
не только животный ужас, но и стыд.

Однако безнадежность позиции освобождает
и можно безоглядно проигрывать, не перехаживая.

К тому же в эндшпиле, до которого
голый король чудом доплёлся, —
просторней,

и ты спокойно наблюдаешь,
как жадно толпящиеся фигуры противника
забивают в доску гвозди,

как они беспорядочно высказывают с шахом,

надеясь, что — вот он! — последний удар, —
наблюдаешь
без снисходительной улыбки и не сдаваясь,
но — с удивлением:
видя, что противник, совершенно растерявшись
от множества вариантов,
проводит пешки — одну за другой — в ферзи
и что ты проигрываешь не в результате
красивой комбинации,
но просто от истеричного перенаселения доски
чёрными фигурами.
Ни благородный победитель,
который не смотрит тебе в глаза,
ни торжествующий дурак,
предлагающий сыграть ещё,
тебя не волнуют —
ты, на правах проигравшего, собираешь фигуры,
поверженные, лишённые
живого предвкушения игры,
и думаешь, застёгивая гробик на железный крючок,
что всё справедливо:
ведь ты играл если и с любовью,
то — к пейзажу за окном,
к тому идеальному полю для поражений
(в пределе — кладбищу),
где победитель не задерживается.

* * *

Хочешь, всё переберу,
вечером начну — закончу

в рифму: стало быть, к утру.
Утончу, где надо тонче.

Муфта лисья и каракуль,
в ботах хлюпает вода,
мало видел, много плакал,
всё запомнил навсегда.

Заходи за мной пораньше,
никогда не умирай.
Не умрёшь? Не умирай же.
Нежных слов не умеряй.

Я термометр под мышкой
буду искренне держать,
под малиновую вспышкой
то дышать, то не дышать.

Человек оттуда родом,
где пчелиным лечат мёдом,
прижигают ранку йодом,
где на плечиках печаль,
а по праздникам хрусталь.
Что ты ищешь под комодом?
Бьют куранты. С Новым годом.
Жаль отца и маму жаль.

Хочешь, размотаю узел,
затянул — не развязать.
Сколько помню, слова трусил,
слова трусил не сказать.

Фонарей золоторунный
вечер, путь по снегу санный,

день продлённый, мир подлунный,
лов подлёдный, осиянный.

Ленка Зыкова. Каток.
Дрожь укутана в платок.

Помнишь, девочкой на взморье,
только-только после кори,
ты острижена под ноль
и стыдишься? Помнишь боль?

А потом приходят гости.
Вишни, яблоки, хурма,
винограда грузны гроздь,
нет ни зависти, ни злости,
жизнь не в долг, а задарма.
После месяцев болезни
ты спускаешься к гостям —
что на свете бесполезней
счастья, узнанного там?

Чай с ореховым вареньем.
За прозрачной скорлупой
со своим стихотвореньем
кто-то тычется слепой.

Это, может быть, предвестье
нашей встречи зимним днём.
Человек бывает вместе.
Всё приму, а если двести
грамм — приму и в виде мести
смерть, задуманную в нём.

Наступает утро. Утро —
хочешь в рифму? — это мудро,
потому что можно лечь
и забыть родную речь.

ЭМИГРАНТСКОЕ

День окончен. Супермаркет,
мёртвым светом залитой.
Подворотня тьмою каркнет.
Ключ блеснёт незолотой.

То-то. Счастья не награбишь.
Разве выпадет в лото.
Это билдинг, это гарбидж,
это, в сущности, ничто.

Отопри свою квартиру.
Прислонись душой к стене.
Ты не нужен больше миру.
Рыбка плавает на дне.

Превращенье фрукта в овощ.
Середина ноября.
Кто-нибудь, приди на помощь,
дай нюхнуть нашатыря.

По тропинке проторённой —
раз, два, три, четыре, пять —
тихий, малоодарённый
человек уходит спать.

То ль Кармен какую режут
в эти поздние часы,
то ль, ворьё почуяв, брешут
припаркованные псы.

Край оборванный конверта.
Край, не обжитый тобой,
с завезённой из Пуэрто-
Рико музыкой тупой.

Спи, поэт, ты сам несносен.
Убаюкивай свой страх.
Это билдингская осень
в тёмно-бронксовых лесах.

Это птичка «фифти-фифти»
поутру поёт одна.
Это поднятая в лифте
нежилая желтизна.

Рванью полиэтилена
бес кружит по мостовой.
Жизнь конечна. Смерть нетленна.
Воздух дрожи мозговой.

* * *

Я жил в чужих домах неприбранных,
где лучше было свет гасить,
чем зажигать, и с этих выдранных
страниц мне некому грозить.

К тому же тех, что под обложкою,
страниц — и не было почти.

Ложился лунною дорожкой
свет ночи, сбившийся с пути,

свет ночи, пылью дома траченный,
ложился на пол, а прикрыв
глаза, я видел негра в прачечной —
он спал под блоковский мотив.

Казалось, сон ему не нравится,
а свет тем более не мил,
и если то, с чем надо справиться,
есть жизнь, то он не победил.

Я шёл испанскими кварталами,
где над верёвкой бельевой
и человеками усталыми
маячил мяч полуживой.

И в окнах фабрики, как водится —
полузаброшенной, закат
искал себя, чтобы удвоиться,
и уходил ни с чем назад.

Всё было выбито, измаяно.
Стояла Почта, дом без черт,
где я, как верный пёс — хозяина,
порой облизывал конверт.

В тех городках, где жить не следует,
где в жаркий полдень страховой
агент при галстукe обедает
с сотрудницей не роковой,

в тех городках, что лучше смотрятся
проездом, бегло, как дневник,
в который, любят в нём иль ссорятся —
не важно, ты не слишком вник, —

чем становилось там дождливее,
тем неуверенней я знал,
что всё могло быть и счастливее.
Но не было, как я сказал.

ПАРТИТУРА БРОНКСА

выдвиньте меня в луч солнечный
дети разбрелись по свету сволочи
дай-ка на газету мелочи

развелось в районе чёрной нечисти
ноют как перед дождём конечности
что здесь хорошо свобода личности

нет я вам скажу товарищи
что она такие варит щи
цвет хороший но немного старящий

он икру поставит чтоб могла жевать
каждый будет сам себе налаживать
я прямая не умею сглаживать

как ни встречу все наружу прелести
в пятницу смотрю пропали челюсти
тихие деревья в тихом шелесте

тихие деревья среди сволочи
в шах луч золотится солнечный
развелось в районе чёрной мелочи

нет я вам скажу от нечисти
я прямая разбрелись конечности
цвет хороший но немного личности

он икру поставит чтоб товарищи
как перед дождём такие варит щи
как ни встречу все наружу старящий

дети разбрелись но чтоб могла жевать
дай-ка на газету сам налаживать
что здесь хорошо умею сглаживать

выдвиньте меня наружу прелести
каждый будет сам пропали челюсти
тихие деревья в тихом шелесте

БАЛЛАДА ПО УХОДУ

Шёл, шёл дождь, я приехал на их,
я приехал на улицу их, наих,
всё друг друга оплакивало в огневых.

Мне открыла старая в парике,
отраженьем беглым, рике, рике,
мы по пояс в зеркале, как в реке.

Муж в халате полураспахнутом,
то глазами хлопнет, то ахнет ртом,
прахом пахнет, мочой, ведром.

Трое замерли мы, по стенам часы шуршат.
Сколько времени! — вот чего нас лишат:
золотушной армии тикающих мышат.

Сел в качалку полуоткрытый рот,
и парик отправился в спальный грот.
Тело к старости провоняет, потом умрёт.

О бессмысленности пой песню, пой,
я сиделка на ночь твоя, тупой,
делка, аноч, воя, упой.

То обхватит голову, то ковырнёт в ноздре,
пахом прахнет, мочой в ведре,
из дыры ты вывалился, здыры ты опять в дыре.

Свесив уши пыльные, телефон молчит,
пересохший шнур за собой влачит,
на углу стола таракан торчит.

На портретах предки так выцвели, что уже
не по разу умерли, но по два уже,
из одной в другую смерть перешли уже.

Пой тоскливую песню, пой, а потом среди
надевай-ка ночи носок и себя ряди
в человеческое. Куда ты, старик? Сиди.

Он в подтяжках путается, в штанинах брюк,
он в поход собрался. Старик, zurück!
Он забыл английский, немец, тебе каюк.

Schlecht, мой пекарь бывший, ты спёкса сам.
Для бардачных подвигов и внебрачных дам
не годишься, ухарь, не по годам.

Он ещё платочек повяжет на шею, но
вдруг замрёт, устанет, и станет ему темно,
тянет, тянет, утягивает на дно.

Шёл, шёл дождь, я приехал к ним,
чтоб присматривать, ним, ним, ним,
за одним из них, аноним.

Жизнь, в её завершении, хочет так,
чтобы я, свидетель и ей не враг,
ахнул — дескать, абсурд и мрак!

Что ж, подыгрываю, пой песню, пой,
но уж раз напрашивается такой
вывод — делать его на кой?

Leben, Бог не задумал тебя тобой.

ОДИНОЧЕСТВО В ПОКИПСИ

Какой-нибудь невзрачный бар.
Бильярдная. Гоняют шар.
Один из варваров в мишень
швыряет дротик. Зимний день.

По стенам хвойные венки.
На сердце тоненькой тоски
дрожит предпраздничный ледок.
Глоток вина. Ещё глоток.

Те двое — в сущности, сырьё
для человечества — сейчас

заплатят каждый за своё
и выйдут, в шкуры облачась.

Звезда хоккея порет чушь
по телевизору. Он муж
и посвящает гол семье.
Его фамилия Лемье.

Тебя? Конечно, не виню.
Куда он смотрит? Впрочем, пусть
всё, что начертано в меню,
заучивает наизусть.

В раскопах будущей братвы
найдут залапанный предмет:
Евангелие от Жратвы —
гурманских рукописей бред.

И если расставаться, то
врагами, чтобы не жалеть.
Чтоб жалости не знать! Пальто!
Калоши! Зонтик! Умереть!

* * *

Увижу библию песка до горизонта,
в удушье шпалы креозота,
зелёного солдата гарнизона —
лакает молоко и сдобу с маком
жрёт, шмыгая, под Мангышлаком.

Увижу: кочегар выносит шлак
в горячих вёдрах —
откос, его рифлёный шаг
и майка блеклая на рёбрах.

Навеки стой, солдат, и прижимай к груди,
давась, продолговато-белое,
и в сапогах несоразмерных так иди,
мгновенный кочегар. Вы мозг. Вы целое.

Будь, воздух голубей,
испуганно взметённых,
ещё гораздо голубей.
Я слышу развлеченья крик: «Убей!» —
и ловят их, с ума сведённых.

Гори, песок, гори, песок проезжий,
пусть жажда разевает рот,
скрежещет тамбур, в законной бреши
сын стрелочницы, рахитичный, рыжий,
глаза, два кулачка зажмурил, трёт.

О, если у состава есть сустав,
он, перебитый, крикнет: «Кокчетав!»

Есть имена — не имена, а натиск.
В палящем солнце есть Семипалатинск.

Есть рабский труд и два карьера глаз,
две Достоевских впадины добычи
страдания, цепей оскал и лязг,
впряжённый труд в виски и скулы бычий.

Есть Гурьев, Астрахань, дизентерия.
Больница на отшибе в засухе.

Есть у цыганки жизнь за пазухой.
Корми, кормящая. Ты навсегда Мария.
Странней, зернистая страница, азбукой.

ВСПОМИНАЯ ПАСТЕРНАКА

Гудящий зерноток.
Из пыли и зерна
ты выйдешь видеть толк,
с каким опылена

созвездьями Земля,
как яблоки висят
и, кислотой спаля,
зелёным белят сад.

Но тень свою шатнёшь,
и в черноту шагнёшь,
и тишину сроднишь
с собою, и сравнишь:

как замшей камышей
ночной покой обит, —
мышление мышей
в мешках пшеницы спит.

ПАМЯТИ Л.

С трамвайного поползновения
(скрипи, постскриптум
к минувшему) начни забвение.
Пройдись по скрытным.

Хождение за послешкольные
междугаражные
моря, за чистые, безвольные,
за слёзы влажные.

Вдоль Карповки, с одной извилиной,
не смуглый отрок,
с тоской, поныне не осилённой,
в поту увёрток,

отвёрток, шкурок, штангенциркулей,
наук запущенных,
тех бледных дней, не под копирку ли
в тираж запущенных.

Но прерванных. По скрытным, огненным
путям сердечным —
к домам погасшим, обезокненным
и быстротечным,

всё дальше от тебя, оставшейся
в весенней прелости
земли, в земле, — тебя, предавшей
недетской зрелости.

Кем ты была и кем отозвана,
о чём ты молишь
там, где тебя коснуться косвенно
могу всего лишь?

Что означает это воинство,
чью суть бесплотную
сознание трактует двойственно:
как перелётную?

И так ли ты обеспокоена
земным, вне дома,
что притяжением, раздвоена,
назад влекома?

Твоё исчезновение раннее
всё безответнее.
Что для тебя здесь-небывание
сорокалетнее?

Случается ли так, что ангелы
сгорают в верхних
слоях, и свет — не их останки ли
в низинах вербных

и гаснущих, когда из тысячи
один упрямится
сгорать? С тобой свои черты слича,
пусть пламя пламится.

Чем занят смертный человек? — мирским
и занят: фетиш
его — звездою над Аптекарским
горит. Ты светишь.

* * *

В полях инстинкта, искренних, как щит
ползущей черепахи, тот,
что сценами троянских битв расшит,
не щит, так свод,
землетрясением стиснутый, иль вид
исходных вод,

в полях секундных, заячьих, среди
не разума и не любви,
но жизни жаб, раздувшихся в груди,
травы в крови
расклёванной добычи впереди, —
живи, живи.

Часторастущий, тыщий, трущий глаз
прохожему осенний лес, —
вот клёкот на его сквозной каркас
летит с небес,
вот некий профиль в нём полудивясь
полуисчез.

Небесносенний, сенный, острый дух
сыреющий стоит в краях,
где розовый олень, являя слух,
в котором страх
с величьем, предпочтёт одно из двух,
и значит — взмах

исчезновенья, как бы за экран,
сомкнувшийся за ним, и в нём
вся будущая кровь смертельных ран
горит огнём,
когда, горизонтально выгнув стан,
он станет сном.

Темнеет. Натянув на темя плед,
прощальный выпростаёт луч,
как пятку, солнце, и погаснет след
в развалах туч.

Рождай богов, сознание, им свет
ссужай, не мучь

себя, ты без богов не можешь — лги,
их щедро снарядив. Потом,
всесильные, вернут тебе долги
в тельцё литом.
Тракуй змею, в шнуре её ни зги.
Или Содом.

Сознание, твой раб теперь богат,
с прогулки возвратясь и дар
последний обрета, пусть дом объят
(ужель пожар?)
сплошь пламенем, все умерли подряд,
и сам он стар.

МАРИЯ МАГДАЛИНА

Вот она идёт — вся выпуклая,
крашенная, а сама прямая,
груды высоко несёт, как выпекла, и
нехотя так, искоса глядит, и пряная.

Всё её захочет, даже изгородь
или столб фонарный, мы подростками
за деревьями стоймя стоим, на исповедь
пригодится похоть с мокрыми отростками.

Платье к бёдрам липнет — что ни шаг её.
Шепелявая старуха, шаркая,
из дому напротив выйдет, шавкою
взбеленится: «Сука, — шамкнет, —
сука жаркая!»

Много я не видел, но десятка два
видел, под её порою окнами
ночью прячась, я рыдал от сладкого
шёпота их, стона, счастья потного.

Вот чего не помню — осуждения.
Только взрослый в зависти обрушится
на другого, потому что, где не я,
думает, там мерзость обнаружится.

В ней любовь была. Но как-то страннику
говорит: «Пойдём. Чем здесь ворочаться —
лучше дома. Я люблю тебя. А раненько
поутру уйдёшь, хоть не захочется».

Я не понял слов его, мол, опыту
не дано любовь узнать — дано проточному
воздуху, а ты, мол, в землю вкопана
не любовью — жалостью к непрочному.

А потом она исчезла. Господи,
да и мы на все четыре стороны
разбрелись, на все четыре стороны,
и ни исповеди, ни любви, ни жалости.

ДИПТИХ

1

Две руки, как две реки,
так ребёнка обнимают,
словно бы в него впадают.
Очертания легки.

Лишь склонённость головы
над припухлостью младенца —
розовеет остров тельца
в складках тёмной синевы.

В детских ручках виноград,
миг себя сиюминутней,
два фруктовых среза — лютни
золотистых ангелят.

Утро раннее двоих
флорентийское находит,
виноград ещё не бродит
уксусом у губ Твоих.

Живописец, ты мне друг?
Не отнимешь винограда? —
и со дна всплывает взгляда
испытующий испуг.

2

Тук-тук-тук, молоток-молоточек,
чья-то белая держит платок,
кровь из трёх кровото́чащих точек
разматывает Его как моток,

тук-тук-тук входит нехотя в мякоть,
в брус зато хорошо, с вкушнотой,
всё увидеть, что есть, и оплакать
под восставшей Его высотой,

чей-то профиль горит в капюшоне,
под ребром, чуть колеблясь, копьё

застывает в заколотом стоне,
и чернеет на бёдрах тряпьё,

жизнь уходит, в себя удаляясь,
и, вертясь, как в воронке, за ней
исчезает, вином утоляясь,
многоротовое счастье людей,

только что ещё конская грива
развевалась, на солнце блестя,
а теперь и она некрасива,
праздник кончен, тоскует дитя.

РАСПЯТИЕ

Что ещё так может длиться,
ни на чём держась, держаться?
Тела кровная теплица,
я хотел тебя дожидаться,

чтоб теперь, когда устало
ты и мышцею не двинуть,
мне безмерных сил достало
самого себя покинуть.

ДЕРЕВО

Алле

Как дерево, стоящее поодаль,
как в неподвижном дереве укор

тебе (твоя отвязанность — свобода ль?)
читается (не слишком ли ты скор?),
как почерк, что, летя во весь опор,

встал на дыбы, возницей остановлен,
на вдохе, в закипании кровей,
на поле битвы-графики ветвей,
как сеть, когда, казалось бы, отловлен,
но выпущен на волю ветер (вей!),

как дерево, как будто это снимок
извилин Бога, дерево, во всём
молчащем потрясении своём,
как замысел, который насмерть вымок,
промок, пропах землёй, как птичий дом

со взрывом стаи глаз, как разоренье
простора, с наведённым на него
стволом, как изумительное зренье,
как первый и последний день творенья,
когда не надо больше ничего.

ВЕЩЬ В ДВУХ ЧАСТЯХ

1

Обступим вещь как инобытиё.
Кто ты, недышащая?
Твоё темьё,
твоё темьё, меня колышущее.

Шумел-камышашщее. Я не пил.
Всё истинное — незаконно.
А ты, мой падающий, где ты был,
снижающийся заочно?

Где? В Падуе? В Капелле дель
Арена?
Во сне Иоакима синеве ль
ты шёл смиренно?

Себя не знает вещь сама
и ждёт, когда я
бы выскочил весь из ума,
бывыскочил, в себе светая
быстрее, чем темнеет тьма.

2

Шарфа примененье нежное
озаряет мне мозги.
Город мой, зима крошечная,
не видать в окне ни зги.

Выйдем, шарф, укутай горло и
рот мой дышащий прикрой,
пламя воздуха прогорклое
с обмороженной корой

станет синевой надречною,
дальним отблеском строки,
в город высвободив встречную
смелость шарфа и руки.

ВАРИАНТ МЕДЕИ

Песенку бубнит придурковатая,
голова болит продолговатая.

— Где ты так сошла с ума? —

— Я-то? — Ты-то. — Я-то? — Ты-то. — Я-то? Я
не знаю сама.

— Слушай, слушай, входит папа в комнату,
в тёмную такую, смотрит томно в ту
сторону, где я лежу,
на себя гляжу я, папой обняту,
и в страхе дрожу.

— Что ты тут такое, папа, делаешь
с девою, со мной? Ты, папа, деву ешь. —
Жадно беденький сопит:

— Ты мне, — отвечает, — только тело нежь, —
засыпает, сыт.

Дурочка гундосит свою песенку,
песенку свою гундосит плесенку,
в сумке роется, со дна
достаёт цветную бесполезенку,
красится, бледна.

— Слушай, слушай, женихов невиданно
мама нагнала, ведь я на выданье,
а она, ворожея,
всё колдует, чтобы выдать выгодней,
сама не своя.

— И загадку жениху, мол, кто, мол, та,
что жена и дочь отцу, — и молодо
нам подмигивает так, —

а не отгадаешь, мол, размолота
твоя жисть, дурак.

К рюмке с ядовитым зельем тянется,
а в глазах гуляет-пляшет пьянь отца.
— Где ты так сошла с ума
и какой танцуешь танец? — Танец? Я
не знаю сама.

— Сколько полегло их, невозлюбленных,
мамою и папою погубленных, —
расчленят и жгут в печи,
жалко их, зарубленных-обугленных
в золотой ночи.

— В золотой, да с пятернями-звёздами
на стекле, да с пауками, гроздьями
виснущими со стены,
а потом втроём танцуем, — гости мы
как бы сатаны.

Песенку бубнит придурковатая,
голова болит продолговатая.

— Где ты так сошла с ума?
— Я-то? — Ты-то. — Я-то? — Ты-то. — Я-то? Я
не знаю сама.

НАБРОСОК

Какие предместья глухие
встают из трухи!
Так трогают только плохие
внезапно стихи.

Проездом увидишь квартиры, —
так чья-то навзрыд
душа неумелая в дыры
стиха говорит.

Но разве воздастся усердью
пустому её?
Как искренне трачено смертью
твое бытие!

Завалишься, как за подкладку,
в домашнюю тишь —
и времени мёртвую хватку
под утро заспишь.

РОМАНС

Ах как уютно,
ах как спиваться уютно.
Тихо спиваться, совсем без скандала.
Нет, не прилюдно,
нет, ни за что не прилюдно.
Истина, вот я! Что, милая, не ожидала?

Ах, покосится,
ах, этот мир покосится.
Что там синее, окно наряжая?
Что-то из ситца,
что-то такое из ситца.
Небо — от Бога. Я вместе их воображаю.

Ах как не жалко,
ах как легко и не жалко!

В петельке дыма, как будто в петлице,
тает фиалка!
Благоухает фиалка.
Ах, закурив, улетаю к небеснейшей птице.

Оскар с Марселем,
Оскар летает с Марселем
там темнооким, в цилиндре и с тростью.
Тянет апрелем,
искренним тянет апрелем,
зеленоватой, едва завязавшейся гроздью.

Взоры возвысьте,
до небыванья возвысьте!
Лёгкие, мы забрели в эти выси
не из корысти,
как птичьи не из корысти
тельца пульсируют, птичьи, и рыбы, и лисьи.

Ах, виноградник,
зрей, мой лиса-виноградник!
Ведь тяжелит только то, что порочно.
Огненный ратник,
целься в счастливого, ратник,
в лёгкого целься, без устали, ласково, точно.

ХОДАСЕВИЧ

Пластинки шипящие грани,
прохлада простынки льняной.
Что счастье? Крюшон после бани,
малиновый и ледяной.

Которой ещё там — концертной? —
прохлады тебе пожелать?
Немного бы славы посмертной
при жизни — да и наплевать.

НА ВЕСАХ

А пока на весах я стою,
на клеёнке белесой,
взвешиванье воспою,
гирьку противовеса,

капли влаги на стенах
склизких и вдалеке
карту мира в растленных
пятнах на потолке,

буду точен как жизнь,
чтобы два в равновесье
белых клюва сошлись
на весах, — вот он, весь я,

воспою переход
в банное отделение, —
холод горько пахнёт,
и окна полыхнёт воспаление,

плавай, мельница, там,
в море круглом,
а покуда к ноздрям
придымится всем углем

эпос трюмов, снастей,
парусины прогретой,
тросов, торсов, страстей,
тьмы запретной.

Поле дымное брани,
шайки неандертальцев,
ямки, выпаренные после бани,
на подушечках пальцев.

МОТИВ

Лампу выключить, мгновенья
дня мелькнут под потолком.
Серый страх исчезновенья
мне доподлинно знаком.

В доме, заживо померкшем,
так измучиться душе,
чтоб завидовать умершим,
страх осилившим уже.

День, как тело, обезболить,
всё забыть, вдохнуть покой,
чтоб вот так себе позволить
стих невзрачный, никакой.

* * *

День дожизненный безделья,
солнце лишнее пылит,

слабость райская, апрелья,
золотые кегли, келья,
горло медленно болит,

спит растение не проснётся,
но, затеплясь у корней
и взветвясь, огонь займётся,
я не знал, что обернётся
жизнь привязанностью к ней,

что, дыханием согрета,
по углам себя тая,
как дворцовая карета,
ахнет комната от света,
незнакомната твоя,

что душа, как гость, нагрет,
наделит собой жильё,
что под вечер жизнь устанет
жить, что вовсе перестанет,
что обещаешься её,

что, сойдясь в едином слове,
смерть и жизнь звучат: смежи, —
и заснёшь, и будет внове
на движенье смежной крови
не откликнуться в тиши.

В ПОЕЗДЕ

Как тянутся часы ночные,
какое время неблагое,

и лица блёклые, мучные,
и всё на свете — Бологое.

Как будто пали в общей битве
(и пробуют опять слететься)
за наволочку, простыни две
и вафельное полотенце.

Как будто в узком коридоре
лиц нехорошее скопление,
и вот — униженность во взоре,
готовая на оскорбление.

Задвинь тяжёлую, не надо,
пусть в глуби зеркала, нерезко,
лежит полоска рафинада
в соседстве с ложкой полублеска,

пусть, тронутое серой линькой,
заглянет дерево со склона
в колеблющийся чай с кислинкой
благословенного лимона.

И поднеси стакан, не пряча
познания печальный опыт,
почувствовав его горячий
и приближающийся обод:

откуда знать тебе, кого ты
на полустанке присоседишь,
и что задумали длинноты,
и вообще куда ты едешь.

В БЛОКНОТ

В сереньком тихом пальто
дождик, как мышкин, идёт.
Что это значит? А то.
Мимо стоит идиот.

Булочку с маком жуёт,
пищевареньем живёт.

Ноль-вероятность прийти
в мир человеком-собой.
Стой, идиот, на пути
глубокомыслия. Стой.

Наискосок перейду
я перекрёсток и весь
в мнимую область вон ту
выйду не-мной и не-здесь.

ОБХОД С ДОСТОЕВСКИМ

Сюда, сюда, пожалуйста-с, прошу-с,
составьте честь, а зонтичек, а мокро-с,
что затоптались? борет грозный образ?
ну наконец-то-с, эх, святая Русь
всех примет, незадирчиво раздобрясь.

Здесь Болдесовы, любят трепеща-с
среди нестерпимой ненависти-с, ручку,
прыг-прыг, ловчее, вишь ты, сбились в кучку,
невема что приспичило сейчас —
вчера весь вечер трогали получку.

Не знаю-с, право, с чем сопоставим
стиль Бандышей, да вы бочком, мостками,
я извиняюсь вам, погрязли в сраме,
валяются всю ночь по мостовым
и хрюкают. Дощупывайтесь сами.

Зато у генеральши пол натёрт-с
и всё блестит-с, Утробину-паскуде
шампанское несут и фрукт на блюде,
а то ещё закажут в «Норде» торт-с —
военно-эстетические люди!

Пожалуйте-с сюда, здесь топкий пруд,
а мы перепорхнём-с, не в месте вырыт,
народец — гнусь, тот в шляпе, этот выбрит —
а всё одно: ладошками сплеснут,
да хохотнут, да что-нибудь притибрят.

Но веруют — я без обиняков —
изряднейше: Ярыгин, этот в церковь
бежит, чтобы прожить не исковеркав
души, с ним Варначёв и Буйняков —
и все метр пятьдесят, из недомерков.

Народ наш богоносец, новый сброд
людей, как говорится, впрочем, есть и
мошенники, которые без чести,
с препонами, но в целом-то народ,
могу по пунктам-с, тих, как при аресте.

А вместе с тем — и крайний по страстям,
Туныгины относятся к тем типам,
что плачут врыд, хохочут — так с захлипом,
чуть что — за нож, держитесь, где вы там?
по праздникам страдают недосыпом.

Для благоденствий совести — кружки,
где люди образованные; к власти-с,
когда возьмут с поличным, льня и ластьясь
живут, а так — с презрением, и стишки
пописывают вольные, несчастье-с.

Игонины, Гопеевы, подчас
всех не припомню-с, кладезь, исполины,
хоть вполпьяна и стужею палимы,
и сплошь позор, и плесень, но игра-с
природы гениальная. Пришли мы.

Не вечно же плутать, хоть чудо — Русь,
среди распутиц этих и распятыц,
ну, что ли, до приятнейшего, братец,
для вас уже просторная, смотрю-с,
готова клетка с видом на закатец.

ЗАБОЛОЦКИЙ В «ОВОЩНОМ»

Людей явленье в чистом воздухе
я вижу, стоя в «Овощном»,
в открытом ящиковом роздыхе
моркови розовые гвоздики,
петрушки связанные хвостики
лопочут о труде ручном.

И мексиканцев труд приземистый
шуршит в рядах туда-сюда,
ярко-зелёный лай заливистый
салата, мелкий штрих прерывистый
укропа, рядом полукриво стой
и выбирай плоды труда.

И любознательные крутятся
людей зеркальные зрачки,
а в них то шарики, то прутьица,
то кабачок цилиндром сбудется,
и в сетках лаковые грудятся
и репчатые кулаки.

Людей явленье среди осени!
Их притяжение к плодам
могло б изящней быть, но особи
живут не думая о способе
изящества, и роет россыпи
с остервенением мадам.

То огурец откинёт, брезгуя,
то смерит взглядом помидор.
Изображенье жизни резкое
и грубоватое, но веская
кисть винограда помнит детское:
ладони сборщика узор.

Чтоб с лёгкостью уйти, старения
или страдания страда
задуманы, и *тень* творения
столь внятна: зло и озверение...
Но испытанье счастьем зрения?
Безнравственная красота.

ЛИРИКА

Валерию Черешне

Жаль будет расставаться с белым,
боюсь, до боли,

с лицом аллеи опустелым,
со снегом, шепчущим: постелем,
постелем, что ли...

Летит к земле немой образчик
любви, с испода
небес, всей нежностью пылящих,
летит, как прах с подошв ходящих
по небосводу.

Родительница и родитель
мои там ходят,
и Бог, как друг в стихах увидел,
дарует тихую обитель.
С ума не сводит.

К ним никогда прийти не поздно,
не рано, нервно
не выйдут в коридор и грозно
не глянут. Высвечено, звёздно,
неимоверно.

Жаль только расставаться с белым,
пусть там белее,
с неумолимой рифмой: с телом,
с древесной гарью, с прокоптелым
лицом аллеи.

И мудрость тоже знает жалость
и смотрит мимо
соблазна жить, на эту малость,
на жизнь, которой не осталось
непостижимо.

**Из книги
«ГРИФЦОВ»**

ЛЮБОВЬ

Как-то раз его навестила молодая пара,
муж с женой. Он тогда умирал от горя,
потому что был брошен возлюбленной
дивноокой... Грифцов сказал им,
что у него нашли угрожающую аритмию.
Пару цепко заинтересовал метод
опознания опасной болезни.
Чуть замешкавшись, Грифцов поведал...
И жена, откусив плода кусочек,
улыбнулась: «Угрожающую аритмию
так вообще-то не определяют».
Муж за ней повторил: «Не определяют».
Вскоре пара, обнявшись, к машине
заспешила мягко, простясь с Грифцовым.

Только год спустя он диалог расслышал,
торжествующий диалог их в салоне рая,
и любовь их увидел там же,
чуть отъехали они и в лесок свернули.

НА УРОКЕ

Как-то раз Грифцов-репетитор
занимался со школьником малым,
бледным, как утренняя погода.
Он и был её блудным сыном —
так рассеянно смотрел в окно, неотрывно...
В молоко... «Он целиться не научен,
он не знает, что такое мишень, —
так Грифцов сказал про себя и спросил:
Антоним к слову „свет“, допустим?»
Но мальчик его не слушал.
«Не антоним ли ты ко мне, Грифцову?
Сколько раз надо сглотнуть обиду,
через труп свой переступая,
чтобы молоко на губах обсохло,
глаз научился смотреть с прищуром,
а щека прилегла к прикладу?»

И Грифцов решил: «Пусть его научит
кто угодно, только не я». И вышел.

БИБЛЕЙСКИЙ СОН

Как-то, в пору наводнения,
выпустил Грифцов из рук тепла
голубя, и тот исчез дотла,
засмеркался и исчез, вроде видения.
Небо ночи синью возросло,
как кристалл сульфата меди.
Заклубилась колба сна, Грифцов весло
уронил. Всё стало ожеледью.

Долго видел взорванное
и застывшее стекло пространства,
а потом канун почуял празднества.
Ослепило что-то взор его.
То была предутренняя весть —
выюркнув из льдистого тумана,
в форточку влетел, Грифцову весь
возвращённый, голубь Иоанна.

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

Вот воздуха февральского клочок,
на нём её фигура перевозданно
горит, чтоб твой затеплился зрачок,
Грифцов, и он затеплился. Осанна!

Когда ты приближался к ней, она,
ещё внезапна и с собой не сходна,
была с таким пристрастием дана,
что сердце в горле билось. Превосходно!

Грифцов, как хорошо тебе дрожать
в своей любви, ты приобщился к тайне,
и это всё, что стоит удержать —
клочок февральский! — в памяти. Бескрайне!

Осанна! Этот двор и редкий снег,
летающий на сарай, качели, брёвна
и ветви всех деревьев — этих рек,
текущих в небеса... Беспрекословно!

ГРИФЦОВ ПРОГУЛОЧНЫЙ

1

Кто этот винодел, который свёл
речную рябь и запах смол?
Вдоль берега проносится по шву
искристый поезд, вылетевший из
шампанского туннеля. Празднуй жизнь!
Но как поверить в то, что я живу?

Я на мосту свидетель облаков,
златящихся со всех боков,
и синевы, в кристалликах стиха
сверкнувшей, точно Лермонтов какой
волной плеснул мне в сердце звуковой
и молвил на прощанье: «Ночь тиха...»

2

Надо где-то рядом погулять
с обозримым, здесь, но где-то рядом...
Вдруг увидеть ледяную гладь
озерца и стать безмерным взглядом.

Треском льда напугана, гусей
всколыхнётся эскадрилья,
с криками и хлопаньем, во всей
траурной красе расправив крылья.

И исчезнет. Наклони печаль,
чтоб пригубить из пустого блюда
и невидимым усилием даль
так в себе продлить, чтоб не вернуться.

В ОБРАТНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Как-то раз Грифцов лучезарный
в майской комнате со шкафом зеркальным
был застигнут отцом его проходящим,
что от матери жестоковойной сбежал то и дело,
а потом и вовсе ушёл и года три не являлся.

Он стоял, преклонив колено, спиною к шкафу,
а Грифцов-ребёнок стоял перед ним и видел
отражение их в зеркале неумолимом.
Пахло от отца шоколадом, поскольку
он принёс коробку и, сдёрнув глянец,
приоткрыл её заискивающе — в углублениях
на ажурных лафетах лежали конфеты.

Был отец женолюбив и ласков,
статен, нежно-розов лицом. Грифцов заметил,
как по правой и левой щеке его поочередно
две скатились слезы...

А лет через двадцать,
у картины Рембрандта, в Эрмитаже,
сам Грифцов пролил две слезы, постигая
то, что можно постичь не умом, а сердцем:

он постиг обратную перспективу,
где ребёнок в святом ореоле и светоносном
возвышается над блудным отцом слезливым.

ДВА ВОЗВРАЩЕНИЯ

Как-то раз Грифцов обморочно засмотрелся,
а верней — уставился в одну точку,

а ещё точнее — с собой смирился
и забыл себя насовсем и прочно.

Как небесный глобус, фонарь горел на платформе.
Перешёптываясь, стояли деревья вплотную.
Но Грифцов не дольний мир уже созерцал, а горний,
из горячей полдня воды входя в ледяную.

И когда оглушительно смолкло на белом свете —
ни трагедий, ни глобуса, ни горького запаха гари, —
мысль-чертовка, подобно хвостатой комете,
пролетела мимо Грифцова мозга двух полушарий.

Через час, ночь ли, вечность, обросший щетиной,
он очнулся, подумав: «О забытьё, как ты мудро!» —
равной радости миг миновал неощутимой —
и вышел в торопкую трусость утра.

СЕМЬ ПЛЮС ОДИН

У одного глава склонённая —
устал и на закате сник,
а у другого — удлинённая
с изгибом шея, в тот же миг
у третьего — улыбка кроткая,
четвёртый сдерживает гнев;
потупясь: «Жизнь моя короткая!» —
вздыхает пятый нараспев,
шестой в окно глядит без усталы,
и тянется к нему седьмой —
кто знает, что у них, не чувства ли...

Грифцов застыл, придя домой:
не разум — он всегда провинция
безмолвной истины, пойми,
нет, в отрешённости *прими* —
изысканная интуиция
тюльпанов огненных семи.

УТРО

Неба синева открытая,
точно озеро в ночи,
землекопами открытое,
силе света научи.
Нет ни облака, ни идола,
только вверх идти ко дну,
и пока мне душу выдуло,
я к бесцельности шагну.
Не душа в молочных обжиггах,
как бы ни была свежа, —
есть края роднее обжитых
и другие — не душа.

ЖИВЫЕ КАРТИНЫ

1

...в маленькой зиме
свет змеится в лезвиях-полозьях,
срез на ледяном зерне —
огненный каток, и люди — парно и поврозь их

вижу — с паром изо рта,
вскользь наклонны и пестро цветисты,
золотая лампочек орда
осадила ёлку, ветра плети-свисты,
с горки с криком сыпь —
бисер детворы ничком, на спинах,
в тёмном небе глыб
оспина луны, и дышит сон в полях остынных,
в маленькой зиме,

в маленькой зиме,
в калейдоскопе
вижу их в паденье и в подскоке,
в парке, в шнуровании конька,
в снег роняют денежку денька,
и ступает ночь уже украденько...

— дяденька, — кричит мне мальчик, —
дяденька...

2

Выхватыватель жизнестрок!
Так воробей бочком, робея,
вмиг — крохобор, взъерошенный репей,
и выстрел сердца, и воинственный наскок.

А рядом — под шатром — веселье,
родительская россыпь вкруг,
вдруг — по ребёнку склюнув с карусели,
все второпях летят на кухню жаркий юг.

А после — то в одном оконце,
к нему подплыв из тёмного нутра,
то в третьем, как наживку, солнце
медно-зелёный сом заглатывает до утра.

И площади пустующая мель
развесит шторы — невода сухие,
и ночь погасит многохищные стихии
и вскормит булкой сна дневную карусель.

3

В вечернем воздухе завис —
он исполняет кистевой
бросок, — над ним сияет высь
своей закатной синевой.
Над головой откинута ладонь,
сейчас просвистнет хлётко
и сетку просквозит огонь —
оранжевого прометея слёзка.
О, задранное вверх лицо,
о, жизнь, прямящаяся вся, —
без устали бросать в кольцо
и гаснуть, в воздухе вися.

ГРИФЦОВ-ОРФЕЙ

Дуновенье небесной купели.
Как идти с Эвридикой он рад
сквозь цветения время, в апреле!
Первых листьев горят,

зеленясь, язычки, и душиста
прорастающая тишина...
Вдруг у дерева остановилась:
«Разве мысль не страшна —

умереть и отчётливой сини
никогда вот над этой ветлой
не увидеть? Непереносимо...» —
и взглянула светло.

Это было прекрасно и просто.
Дай мне вспомнить, пока не забыл,
как Грифцов полюбил её просто,
как легко полюбил!

ГРИФЦОВ И ВТОРАЯ КНИГА ЦАРСТВ

И было после того: у Авессалома,
сына Давидова, [была] сестра красивая,
по имени Фамарь (Тамар), и полюбил
её Амнон, сын Давида.

2 Цар. 13: 1

1

Болен твой брат, сестра.
Ты его навести.
Свечой добра
в темноте погости.

Ты ему приготовь
понежнее еды.

Всё-таки кровь...
Дай воды.

Пусть не будет в дому
никого, только вы.
Ближе к нему
подойди, позови.

Ты над ним наклонись,
имя шепни: Амнон!
Есть ли в нём жизнь?
Дышит он?

2

Глаза закрою — и реву
во сне, и сам себя не знаю, —
с тебя сдирая платье рву
и плоть твою терзаю.

И если не орущий взлом,
меня увечащий ночами,
и если сквозь тебя стволом
тотчас не прорасту толчками,

то мозг расплавится. Сестра?
Но тем острее, чем запретней.
Будь медленна, потом быстра,
влажнее и ответней.

О, этот крик, когда, вмяня
в себя до огненного края,
ты липким соком недр меня
обволокнёшь, изнемогая!

— Стали позором, брат,
жизни ночи и дни...
Но и пути назад
нет мне. Не прогони.

— Мне тошнотворен мёд.
Губ твоих не ищу
и за то, что я мёртв,
тебя не прощу.

— Разве моя вина
в том, что в зверином сне
ты исчерпал до дна
жизнь? Повернись ко мне.

— Не прикасайся. Сплю.
Мозг превратился в пар.
Я тебя не люблю.
Уходи, Тамар.

ГРИФЦОВ И БЕККЕТ

1

Вас, беккетовских двух, прижатых
друг к другу, слившихся в одно
двуглавое, худых, не жадных
до жизни, сброшенных на дно
существования, столь спящих
и нищих, слипшихся почти,

в подземном грохоте пропащих,
навек сбившихся с пути,
утраченных, усохших, утлых,
вас, беккетовских двух, прибудных, —

в людской стране высокомерья,
в которой разве только сон
горяч, животный сон безверья, —
я созерцал и, вознесён,
возвёл вас не в абсурд и вздор, нет —
в сердечный пламень среди льдин...
Двуликий Янус, что развёрнут
внутри профилями, где один
так разрыдался вдруг, что смехом
другой откликнулся, как эхом.

2

Пойдём? Я приготовился... — О господи,
ты стал как тень. — А ты? — Какая местность
скупая! Что за пшики? — Паровоз, поди. —
Нас кто-то встретит? — Полная безвестность. —

А ты её узнаешь? — Я-то? Сослепу?
Едва ли... В крайнем случае, на голос
пойдём... — Внимай и будь послушен оклику.
Нет, что это? Не Северный ли полюс? —

Не знаю. — Что? — Тетеря... Ты квитанции
и паспорта взяла? — Дурак, мы тени!
Как предпочтительней тебе — от станции
или на станцию?.. — Нет предпочтений... —

Тогда пойдём...

ДИАЛОГ ГРИФЦОВА СО СВОЕЙ ДУШОЙ

— Столько в юности сил,
что хватило б на святость.
Закошил.
Вот и вся виноватость.

И пока не зачах,
смей признаться
в некоторых вещах,
а не то — упразднятся.

Честь не мог ли спасти
там, где морда
пса в почёте, врасти
в площадь мёртво?

Был, найдя свой мотив
в одиночестве жгучем,
ты правдив
и тщеславьем не мучим?

Так ли сплошь потрясён
смертью брата,
пьяный сон
с век смахнув без возврата,

чтобы к жизни прильнуть,
не смыкая
глаз отныне? Ничуть.
Не прощу. — Кто такая?

— Ты не только не Сын,
ты пребудешь подлогом
человека, один,
то есть не перед Богом.

Хором, слышишь, вопят
в той траншее? —
Обжит дантовский ад.
Твой страшнее.

ВЕСНА

У женщин выпятились животы,
идут подруги футболистов,
дыханием приоткрывая рты,
и шёпотом шумят трибуны листьев.

Дымят лотки, страды весенней стынь,
из подтрибунных помещений
везут на свет арбузы дынь,
и почки лопаются без смущений.

Безмозглый мир счастливится дождём.
Дозволь-ка мне не выпад — выцап
когтистой мысли: я о том,
что будь разумен мир — мне не родиться б!

Из книги
«ЭЛЕГИИ И ДРУГИЕ СТИХИ»

ЭЛЕГИЯ. ВОПЛОЩЕНИЕ

Меня, со всеми мыслями моими
и чувствами извивчиво живыми,
как червь, как ветвь, как Критский лабиринт,
где нить горит,
меня, вольфрамовой молниеносной нитью
спасённого, прошьёшь какой-то гнитью?

Мою, со всей листвой и хвоей леса,
где пёстрые мелькают гирыки веса,
пощёлковая, плача, хлопоча,
где, как парча,
вбирает солнце земляничная поляна,
жизнь распылишь, чтоб стала неслиянна

сама с собой, с великолепьем тождеств,
когда в кругу божеств, а не убожеств
я *то*, что предо мной? — Вот чайный куст,
он многоуст
в своём цветении, он кожист, острозубчат,
а вот ночной корабль, дымящ и трубчат.

Я, подходящий к линии прибора
ступнёю тронуть вещество припопя,

запечатлённый мальчик, птичья кость,
берущий горсть
песка зернистого, текущего меж пальцев,
я буду вычеркнут из постояльцев?

Корабль плывёт, вода черна, Эвксинский
Понт, а внутри — мир аурелий склизкий,
и звёзд морских, и пурпурных ежей,
шесть падежей,
три наклонения, глагол, предлог, причастье,
пиши в тетрадь, вот слово есть: запястье.

Ты помнишь ли его, из-под манжета
оно виднеется в загаре лета,
а там любовь и солнечный удар,
а там базар,
пропахший паприкой, колендрой, сельдереем,
а там зима пыл охладит Борею.

Меня, с моею памятью, столь цепкой,
что если я задуман мёртвой щепкой,
то для чего ноябрь, снег в фонаре,
лиса в норе,
подлунные поля, как простыни льняные
из синьки, и оконца слюдяные?

Так въестся в мир, как в мир себя врезает,
зигзагами, как будто разгрызает
пространство, в снеговую канитель
одевшись, ель, —
всходя, над ярусом надстраивает ярус, —
в два профиля неколебимый Янус!

Так впиться в мир, чтоб он в тоске прицельной,
меня увидев с ясностью предельной,
как я — его, меня не отпустил, —
каков настил! —
дощатый, хвойный, ледяной, морской,
любой — ты без меня пустой и пресный!

ЭЛЕГИЯ. ПРИШЕСТВИЕ

Он в кухне говорит о чём-то
с женой, он в майке выцветшей
напротив чёрного окна,
я для отчёта
(перед собой) записываю вирши,
едва стряхнув лохмотья сна.

Как будто это кадры фильма,
просмотр, где я единственный,
уставясь в крапчатый экран,
почти насильно
смотрю и вижу: друг мой незабвенный,
вернувшийся из дальних стран, —

ему дана неделя, — бледен,
он ходит, взяв квитанцию,
он должен заплатить за свет, —
блокнот мой — бредень,
которым я вылавливаю танец
(в лохмотьях сна), точнее, след

движений: муж, за ним по кругу
жена, тарелка с трещиной,
на ней кусочек хлеба, нож,
я вижу, другу
нехорошо — очкастый, отрешённый,
он слишком на себя похож,

вот — я могу его потрогать,
когда бы не театр теней,
не странная брезгливость, не
сосновый дёготь
сна, не попятное в нём тяготенье
проснуться, выскочить вовне,

не радость тайная, что это
реальность, что и ты придёшь
когда-нибудь издалика
в такое лето,
где эту ручку и блокнот увидишь
и оживёт твоя строка:

он! до неузнаваемости (в майке,
напротив чёрного), он весь —
мне утешение и страх,
а вот ремарка
пред тем, как опуститься занавесу
и буквам разбрестись впотьмах:

он умер и давно истлел в могиле,
стоит, квитанцию в горсти
зажав, он должен заплатить
за свет, за то ли,
что иногда их отпускают в гости
и можно умереть, но жить.

ЭЛЕГИЯ. ПЛАВАНИЕ

Люблю зашторенные окна, свет не лезет
в глаза, а на столе люблю стихи,
написанные накануне, лепет,
возможно, но люблю их перечесть,
когда захватывает дух на стыке
двух строк: блеснёт находка ли? — бог весть.

А в те часы, когда закончен труд полночный,
люблю сквозь сон разматывать клубок
минувшего, когда, уже неточный,
день гаснет в памяти, но не совсем,
так, улыбнувшись встречному, улыбку,
простившись, всё несёшь — куда? зачем?

Та глуповатость, о которой умный Пушкин
писал в письме, умеет набрести
на свежесть слова, как на запах стружки,
зайдёшь в какой-то двор, а там столяр
орудует рубанком честь по чести, —
люблю живой и благородный дар.

Куда завёл меня мой стих? Я на задворках,
в той мастерской, где строят корабли
игрушечные, где о двух «аврорах»
не слыхивали, только об одной,
шпангоут, рубка, мачта, пота капли
кропят твой лоб и детский профиль твой.

Потом на Каменный поедем, на Крестовский
к веслолюбивым лодочникам, там

по сходням — из-под ног уходят доски —
сойдём и оттолкнёмся, — в путь, пора
взглянуть на шпиль бессмертного эстампа
со стороны, на блещущий с утра.

Люблю точёное скольжение восьмёрок
с глашатаем, сидящим на руле,
изменчивого неба свет и морок,
как в проявителе, дрожит в реке,
кого похитили? — я слышу в гуле
знакомый голос, родственный строке.

Елену? Значит, снаряжайся, Агамемнон,
ты бабьей верности *такой* хлебнёшь,
которая не снилась всем Еленам,
ведь ты ещё вернёшься в отчий край...
Но возвращения претит мне ноша,
обратной лодке не бывать, прощай!

В обратном плаванье люблю *другую* лодку,
она прошита памятью моей,
трагедия бесповоротна, кротко
я должен перечислить инвентарь
и на хранение царские покои
стихотворенью сдать, как щедрый царь.

Расшторить окна, но ни сетований сердца,
ни радости не выдать, гладь да тишь,
рассвет сменился днём, а тот рассестся
успел на троне, — *что* мне эта ширь? —
я с равнодушной вежливостью, видишь,
приветствую ухоженный пустырь.

ЭЛЕГИЯ. ПОД ЛИНЗОЙ

Чем долгодолгий день? С собой, подробностью,
вниманием, таящимся под робостью.
Как бы под линзой, день — под рассмотрением,
не временем измерен он, а зрением.
И самый краткий, зимний, как с повышенной
температурой, длится, нескончаемый,
дыханья чёрен островок, продышанный
в окне, где человек мелькнёт нечаянный.

Чем долгодень? Подробностью мельчайшею,
кота ленивой поступью мягчайшею,
дымком под линзой, солнцем, в конус собранным,
листочком календаря, неровно содранным,
установленностью в точку, взглядом медлящим,
оцепеневшим, впившимся, несведущим,
пред каждой вещью огненно немеющим,
без мысли мыслящим, без веры верящим.

Вечерним вечером ли, утром утренним —
ребёнок в созерцанье целомудренном,
плывёт ангинный жар и свет малиновый —
без чувств горячий, без молитв молитвенный,
он собран в вещество такой материи,
где время, точно мышшь, скользнёт

и выскользнет...

Потом произрастут волчцы и тернии
и ветер тот дымок под линзой высквозит,

потом взойдёт бесстыдный, расхрабренный,
тщеславный человек, сорняк пробившийся,

искусством одержимый и завистливый,
разящий беспощадной правдой вызленной,
а с ним взойдут признание и увенчанность...
Вот человек, в союз пророков принятый,
забывший, что смиренность и застенчивость
есть высший дар, по слабости отринутый.

ЭЛЕГИЯ. КУЗИНА В 1973 ГОДУ

Весна. Трамваи катятся под горку.
Горнист. В подкорку.
Командирован в Звёздный, я в Москве.
Иду к кухне, чуть позднее — вдове,
потом — бесследно умершей в больнице,
за «Соколом»-метро, не в Ницце.

Останется сын Константин. В подкорку.
Ты помнишь генеральную уборку
и повсеместное мытьё?
Зеленолиственное по ветвям дутьё.
Иду. Однажды в раннем детстве, летом
нас положили спать валетом.

Ночь. В Евпатории янтарной.
Я брат твой, с опозданием благодарный.
Валетом. То-то я годам
к двенадцати искал в колодах дам.
Пикóвых ли, бубновых ли, крестовых,
а более всего — червовых.

Ты козырь дядьки. Университета
студентка. Математик. Ты воспета

в хвастливых монологах. Задран нос.
Он вскоре умер и унёс
гордыню в смерть. О, тётя Доба.
Добрейшая. Любовь всегда — до гроба.

О, гром литавр! О, эта колесница!
Хоронят главного евпаторийца.
Главу горкома. Полдень раскалён.
Колодой он лежит. Не королём.
Горком. Партком. Трудящиеся массы.
Мясопотамия. Умеры. Мясо.

Гроб. Вот бездарности образчик.
Чья мысль ты — положение во ящик?
Весна. Распахновение одежд.
Не оправдавшая надежд,
ведёшь бухгалтерский учёт в конторе.
Но дядьки нет, а то бы горе.

Сластёна, краснобай и щёголь,
он походил на взбитый гоголь-моголь.
Да. В гоголевском смысле. Сахарок
накапливал, пока не вышел срок.
Да. Диабет. Но был он жовиален,
любитель жён чужих и спален.

Весна. Вечерний воздух. Варят трубы.
Трубит горнист, вытягивая губы.
Счастливец не узнал, что дочь сошлась
со сварщиком. Что заварилась связь.
Что закалилась сталь и что со света оба
сживали тётку. Бог мой, тётя Доба!

Пришёл. Звоню. Не открывают дверь мне.
Как много терний!
Через них мы рвались к звёздам Константина.
Вы ж зачинали в то мгновенье сына.
Что будет с ним? Как сокол, воспарит
и общий ужас повторит?

ИЗ ЛИДИИ ГИНЗБУРГ

Что там — январь ли, март?
Гибнет блокадный хор.
Вот он, точный стандарт
жалости, горя, ссор.

Ближний сердцу не мил.
Тут не музыка сфер —
рациональность сил
и принятие мер.

Ближний вшами зарос.
Скоро ль ему конец?
Надо ставить вопрос
по-научному, спец.

Нет любви у меня.
Есть ответственность за
жизнь, если ты родня.
Плюнуть бы ей в глаза.

Это такой загон.
Функция, сущность, факт.
Это такой закон
и ритуальный акт.

Это буквальность, в рост
смерти. Её творя,
входит Каменный ГОСТ
сжатого словаря.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ПОЛОТНО

Как пробирают они — до дрожи: рельсы,
шпалы, туннели, речные мосты, пути,
будки стрелочников, курганы, бельцы,
брянски, курски, пустопорожние
грохоты, вокзалы, «ручку позолоти»,

с бельмами изоляторов, как слепцы,
идут столбы, цепляясь за провода,
возле шлагбаума промелькнёт подвода,
орски, сызрани, новгороды, ельцы,
«спичкой угости, молодой, да?»,

деревенские дети разинув рты
смотрят на поезд, кофты, платки,
сага промасленных пирожков, палатки,
электростали, дербенты, орлы, читы,
«красивый ты, но есть у тебя враги,

чёрное у них на́ сердце, есть одна
дама трэф, сжить тебя хочет со света она,
дай карманную денежку, я её заговорю»,
только железнодорожного полотна
дóроги образы и штрихи, дарю,

как пробирают вот эти, где ты и я
жили, художником не прописанные края,

невинномысски, шахты, кански, ухты,
рельсы, туннели, пути, речные мосты,
«видишь ниточку — это душа твоя».

ПО-ВЕСТЬ

Помню, шагом шёл нетвёрдым в одиночестве
негордом
и забрёл — за коим чёртом? — по пути
в крошечный бар.
Бар напрасный, бар случайный, жизнь,
зачем судьбою тайной...
От тоски ли чрезвычайной и семейных дряг и свар
я набрался как сапожник и услышал сквозь угар,
как в окно влетело: «Карр-р!»

Карр-р. Карета. Некто в чёрном, взором огненным
и вздорным
озаряя ночь, проворным жестом вынув портсигар,
в бар вбежал и сел напротив, но погоды
не испортив, —
я, как если бы юродив был, легко держу удар...
Сел и сел, сиди с дедалом, с неба рухнувший икар.
Тут он рот разинул: «Карр-р!»

Ну и что? Я не в обиде. Жизнь прошла в нетрезвом
виде,
и кому сказать «изыди!», если сам себе кошмар?
Бар прокуренный и чадный, пересыпан непечатной
бранью мерзкой и надсадной, воздух — смрад
и перегар...

Всё ж в реестре преисподней бар не худшая из кар.
Сотрапезник рявкнул: «Карр-р!»

Я спросил: «Придя оттуда, где, навалены как груда
или поданы как блюдо, мы мертвы, и млад и стар, —
свет пролей — на самом деле мы мертвы, когда
не в теле?»

Есть душа, о коей пели и поют, ценя свой дар,
менестрели? Эти трели — правда или же товар?»
Он кивнул и молвил: «Карр-р!»

«Если ж есть душа в загробном мире,
телу неудобном,
в состоянии свободном лучше ль ей? И что там —
пар
млечный? ангелов ли пенье? — не испытывай
терпенье! —
света параллелепипед или звука белый шар?»
За окном сирена взвыла — на пожар промчалась сар.
Призрак, выпив, вскрикнул: «Карр-р!»

Я в ту пору жил на Pelham, был декабрь,
несло горелым,
надвигалась баба в белом, я забрёл в кромешный бар,
где с таинственным собратом, чернобровым
и крылатым,
расщепляясь точно атом, пил не то чтобы нектар.
Алкоголь — мой горький фатум. «Карр-р! —
в проезжем свете фар
гость мой дважды гаркнул. — Карр-р!»

«Где мой первый друг бесценный? —
я воскликнул. — Что за сценой?»

Говори, бродяга бранный!» — Но бродяга
с общих нар
встал и подал знак, чтоб следом шёл за ним я.
Верно, ведом
путь ему... И за соседом я ступил на тротуар.
Две парковки, три заправки, супермаркета амбар...
«Что замолк ты? Каркни!» — «Карр-р!»

Шли и шли. Снежинка косо пролетела возле носа.
Ни единого вопроса больше не было. Футляр.
Человек в футляре. Узость взгляда есть, по сути,
трусость.
Изворотливость, искусность — вот и весь твой
скудный дар.
Современный борзописец мне кричит: «О чём базар?»
Отвечаю кратко: «Карр-р!»

Кар-навал окончен вроде. С общих нар —
и на свободе,
рифма ей — на небосводе. Вот свеча, а вот нагар.
Вот дымок — смотри, он тает. Вот восток —
смотри, светает.
Слово чистое витает, открестясь от чёрных чар,
и округа обретает ясность черт. Не слышу «карр-р!».
Что-то я не слышу «карр-р!».

Помню, шагом шёл нетвердым за притихшим,
помню, чёртом,
помню, мы пришли на Fordham¹. «Кто ты есть, скажи,
фигляр?»

¹ *Fordham* — во времена Эдгара По сельская местность, где поэт провёл последние годы жизни и написал «Ворона». Сейчас район Бронкса; примерно в часе ходьбы от него — *Pelham*.

Ничего мне не ответил, только стал
прозрачно-светел,
и тотчас, как я заметил, рассвело среди хибар.
Небо ожило, и ветер вымел все тринадцать «карр-р!».
Здесь твой дом. Прощай, Эдгар!

ЭТЮД

От хрустальных люстр,
занавесок-тюль,
покрывал пикейных,
от декабрьских утр
хладнокровных пуль,
от спецов тупейных,

от причёсок тех:
чёлочек и каре —
да чулочков в рубчик,
шапок — рыбий мех,
дров в сыром дворе,
прописей и ручек

да от санных полос,
от резца-сверла,
в зренья втравленного,
набежавших слёз
ноша тяжела,
сердца сдавленного,

от кошёлочек тех
да клеёнок кухнь,
рук в муке, передников,
инженеров-тех.,

птичек выпь и рухнь
да воскресников,

от халтуры — гипс:
пионер-салют,
на плече дитя, —
от заборов с «икс,
игрек...» слóва зуд,
вот и цедится,

вот и цедится по строфе,
по одной, по две,
ветер, стадион,
фильдеперс, галифе,
голо голове,
май, тюльпан, пион.

ГОРОД-ВАРИАЦИЯ

В автобусах, троллейбусах, трамваях
то лапки, то крюки массивных лапищ,
на выходе красотка, с ветром справясь,
смущённо оправляет платья парус,
а в небе — стаи перелётных кладбищ,

кричащих, вышитых крестом крылатым
над шестиречьем разветвлённой дельты;
вдоль набережной, пахнущей гуляньем,
проезжие колёса крутят сальто,
а вдалеке Исакий блещет золотом.

Советник, секретарь, купец, повытчик, —
сегодня их не распознаешь, театр

шумит, — швея, артельщик, регистратор, —
они из служб своих, как из кавычек,
выпрыгивают и флажками машут.

Сегодня будут состязанья в беге,
бенгальские огни, в балете эльфы
и феи, лотерея, — жизнь на лоне
природы, Петербург весь на ладони,
торгует пёстрой всячиной с телеги.

Вот гувернантки, разодевшись в тряпки,
с дитятами гуляют по проспекту,
прохожий потный пышет вроде топки
и с криком: «Улыбайтесь!» — исчезает.
Своих безумцев светлый город знает.

Он их несёт в корзинке лучезарной,
сплетённой из соломы солнца ломкой,
на дне брусничные брусчатки зёрна,
а между прутьев то Нева, то небо —
блеск облака и плеск воды негромкой.

ОДА ОСЕНИ

Когда всей раковиною ушной
прильну, в саду осеннем стоя,
к живому, чувствую душой
с землёй всецело феодальное родство я.
Тогда я завожу интимны
всепрославляющие гимны.

Бывает, что безмерно засмотрюсь,
заслушаюсь и мигом пылко

с жестоким миром замирюсь, —
я, высших милостей усердная копилка!
Чу! Тонкую тропинку, верно,
перебежала горна серна.

Уж затевает шахматы листва,
на тихий пруд слетая мелкий,
секунда в воздухе, чиста,
висит, как на флажке, необоримой стрелкой.
То осень, осень златовласа
ждёт окончательного часа.

Мы станем с ней ушедших поминать.
Ни золотых монет, ни меди
своей мне не на что менять.
Пусть боголюбые мне жизнь сулят по смерти, —
каким бы ни было жилище,
такой не будет духу пищи.

Не будет. Я всегда хочу домой, —
единственный бесценный дар мой.
Фрагмент ограды — струнный строй —
в развилке дерева мелькнёт горячей арфой.
Погаснет? Я и сам немею,
но быть не радостну не смею.

КОЗЛИНАЯ ПЕСНЬ

Давай, чахоточный Коптёлыч,
нюхнём и двинемся в поход
по светлым улицам, где сволочь
людская шляется вразброд,

минуем Невский без оглядки,
собою Биржу освятим,
а после в явочном порядке
Наташу с Лидой посетим.
Бумбяныч тоже знает явки,
он на Литейном, вечный жид,
букинистические лавки
в коротких брючках обежит,
а после — в Озерки (не спится!),
он руки в ноги — и в галоп,
а приглядишься — там копытца
и рожками увенчан лоб.
Стоит Поэт потёртым фертотом,
торчит фонарь, как буква «рцы»,
пианистическим концертом
звучат роскошные дворцы.
Над крепостной стеною розов
закат, Лавласа быстрый шаг
пестрит вдали, пока Философ,
в окно уставясь, молвит так:
«Я половое знал томление,
но больше к девушкам не мчусь,
а скажет кто „совокупление“ —
я попросту расхожусь».
Осталось ли нюхнуть в запасе?
Нет. Возвращается, помят,
в свои простые восвояси
библиофил и нумизмат.
Коптёлыч, завтра там же сходка,
где белой ночи блёкнет пыл,
пока не съела нас чахотка
и Озерлаг не распылил.

ПИСЬМО ГОГОЛЯ

Едва приехал — слёг,
всквозь до печёнки,
трясаясь в некрепкой колясчёнке,
в пути продрог.

От стылых ли камней
гнилого края
как воспалительность какая
в крови моей.

С утра кругом туман
да шум работный,
карман-то у людей неплотный,
пустой карман.

Перекрестясь, пишу:
пришлите денег,
жизнь выметает их как веник.
Я вас прошу.

Хотел скопить, но — чу! —
вдруг вижу платье,
а гардероб — моё проклятье.
Я не франчу, —

сюртук был сильно дран
под мышкой слева...
А я в ответ вам для посева
пришлю семян.

Увижу ли зарю?
Скажу без ячеств,

что существую не без качеств,
хотя хандрю.

Провозглашу как есть,
простите смелость:
в восторгновенье бы хотелось
свой дух привести.

Чтоб не сидеть порой
поджавши руки,
а пропестрить долину скуки
живой искрой.

За подвигом умру.
Прожить напрасно,
обравнодушившись безгласно,
претит нутру.

Для вдохновенных струй,
для сладкопенья,
о дух смиренья и терпенья,
любве даруй!

АПОРИИ

1

Жизнь вынашивает воспоминание
о себе, как мать вынашивает дитя, —
замедляет ход, излучает сияние
и почти навёрстывает себя, хотя
черепашка была и пребудет чуть впереди
Ахиллеса (и это щит его и его пята).

На часах двенадцать, но без пяти,
скоро, скоро, а в сущности — никогда.
Только всю воссоздал, а она ушла
на шагок, не успеть за ней, не успеть.
Бесконечной задуманная, светла
вспоминанием. Невозможна смерть.

2

Едва касаюсь лезвия болезни
в младенчестве, когда впервые страхом
дохнуло, миг — и зарождаюсь в бездне,
в сцепленьях с миром находя себя по крохам.
Но чуть продлюсь там — и уже потерян.
Стихотворенье движется напрасно,
и надо возвращаться к тем портьерам,
слегка колеблющимся, не рифмуя праздно.
К волчку, к вращению его с завывом
и выбегом из яви — грани стёрты,
к тому, как чахнет и, качнувшись криво
туда-сюда, ложится на бок, полумёртвый.
Последовательность движенья — призрак,
стихотворенье движется к началу
себя, в своих младенческих капризах.
Путь непреодолим, я в нём души не чаю.

3

Я почувствовал: скоро. Тихо
дверь прикрыл и сбежал во двор.
Там, натягивая тетиву к уху,
с самодельным луком стоял Тевтар.

И стрела, рванувшись, застыла.
В сонном страхе вернулся: дверь
приоткрыта, за ней — затылок
и спина — с носилками пятится санитар.

Непосильный позор. Всё ближе.
Мёртвый груз прикрыт простынёй.
Мне хватило б раза. Но вижу
бесконечно: недвижно летит стрелой.

ОН

Ему с ней одиночей,
чем одному, но так
в два раза путь короче
до стихотворных благ.
Она чужей чужого,
но всё-таки она,
как выстраданность слова,
равна ему, родна.
Он знает только с нею,
что есть особый свет —
в нём жизнь его крупнее
любви. Которой нет.
Любовь всегда на грани
разрыва, потому
что от безумных маний
покоя нет уму.
А у его простора —
тишь, память, горечь-речь
и глубина, которой
никак не пренебречь.

Ну, выстраданность слова,
пока крепка строка,
описывай чужого
родные берега.

ПОСЕЩЕНИЕ

Ночь декабрьская, холод.
В отчий дом захожу.
Я, старик, ещё молод.
Свет тускнеет в прихожей.

Из столовой отец,
сбоку выйдя: «Трагедия
в нашем доме», — и тень
к тени, две на паркете.

Мать выходит потом.
«Что стряслось?» — замираю.
«Мы вчера, — впалым ртом
говорит, — оба умерли».

Прохожу. Вижу в спальне
мать у зеркала молодая
прихорашивается, шаль
на плечах, ни следа

смерти, рядом отец —
то обнимет её, то смеётся,
слышу скрип половиц,
белый свет на них льётся.

ОСЕНЬ

Лечь в квартире пустой,
глаза закрыть.
Был талантливый, не простой...
Время убило прить.

Кем притворялся ты
лет пятьдесят,
рифмами наводя мосты?
Пересчитать цыплят

самое время. Покой земли.
Только в стекло —
ветка, — мол, за тобой пришли.
Оно и пришло.

Как узнало ты адрес мой?
Даром следы я за-
метал, не приходил домой,
менял адреса?

Даром? Нет его.
Молодому оставь
погремушку часа рассветного.
Ночь наступает. Явь.

Хлеб не тело, вино не кровь.
Образ отшелуши.
Не говори, что в душе любовь,
там ни души.

В изморози поля.
К нулю сползла
температура. И ты с нуля
начинай, не со зла.

ПЕРЕД ОТЛЁТОМ

Вот он, огненный тамбур, —
здесь с тобой выпивал я не раз.
Это гамбургер, варвар,
это чизбургер, френч твою фрайз.
Здесь я захорошею
и увижу, как в чёрном окне,
лебединую шею
изогнув, проплываю вонне.
В чёрном космосе — жёлтый
куб «Макдоналдса». Музы поют.
Что искал, то нашёл ты, —
чудной жизни последний приют.
Так давай же потешим
душу, глядя на звёздчатый лёд, —
это счастье в чистейшем
виде взято тобой напролёт.

РОМАНС НА ОДНОЙ НОТЕ

Вдруг в ночи он забрякал
на гитаре, романс затянул,
и заплакал навзрыд я, беззвучно заплакал,
как на горле петлю затянул.

Потому ль, что сердечно
он фальшивый мотив выводил
и так нежно, так нежно и так человечно
к свету Божьему не выводил.
Что ж, что выпала решка...
Мне ль плацкартной тоской исходить
и чуть что выходить покурить? Что за спешка,
если скоро совсем выходить?

ШЕКСПИРИАДА

На сцену, мальчики, я запускаю глобус,
шекспировского мозга чудный образ!
Всем серым веществом вы, облака,
сорвавшись с мест, развейте скорость мысли!
Эй, мальчики, в какой вы бочке кисли?
Где карта дней? Сыграем в дурака!

На сцену, праведники, прохиндеи, ведьмы!
Ударим в гонг, и если гонга медь мы
разгорячим и расхрипим на все
лады, склонив её к разноголосью,
то колесо событий скрипнет осью.
Где белка, чтоб вертелась в колесе?

Эй, палачи, на сцену! Скрутим в рог бараний
свободу, площадной отвесим брани
галантности, наукой устращать
потешимся! Куда вы, горожане?
Рабы, тащите хворост, чтобы Жанне
д'Арк ярче было сцену освещать!

А вот и плаха! Пей горластый воздух горний,
поднявшись на помост! Мир — живодёрня.
Скользят в крови постыдные стада,
бездарность алчет мести и клокочет,
порок в чести, пророчица пророчит
и, стихнув, говорит: «Я жить сыта».

Твою любовницу убьют, трусливый ратник.
Развратница, погибнет твой развратник —
не всё тебе, мужеубийца, рай.
Стук в дверь. Никак Орест пришёл с Пиладом?
И тот же по Макбетовым палатам
несётся стук — привратник, отворяй!

К вам, недоноски всех мастей, сыны рептилий
и крыс, которых в жизнь недородили,
из тени Клитемнестры выйдет тень
отца великомученика-принца.
«Что? Крыса? А не хочешь ли гостинца?»
Вот окорок — крюком его поддень.

На сцену, шваль! По вашим душам, отморозки
и бляди, не кудрявые берёзки —
осины сохнут. Ты ещё в парче?
А ну как поменяешься ролями
с тем, кто своими давится соплями
и смрадно тонет в собственной моче?

На сцену, мальчики, пусть не избыта скверна,
и серный облак далеко не серна,
и ломаются от мёртвых яств столы...
Пока есть Ариэль на небе звёздном,
Бирнамский лес идёт не в переносном —
в прямом стволовом смысле на стволы.

СТИХИ

Я искал, где они ютятся.
В магазины ёлочной мишуры
заходил, засматривался на шары
(да святятся!),

в вечеряющем ли предместье,
ноющем, как укол
под лопатку, в неоновых окнах школ
(много чести

месту пыток, где ходит завуч
с тощим на затылке узлом,
в костюме, стоящем колом),
в парке, за ночь

ставшем чистой душой без тела, —
точно зрение оступилось в даль
и наклонная птица диагональ
пролетела,

я искал их на Орлеанской
набережной шарлеанской и в том
великодушии (с поцелуем-сном,
его лаской), —

в том единственном, пожалуй,
за что можно ещё любить
(так чувствовал Сван, готовясь забыть
жизнь, усталый),

в море, шуршащем своим плащом, —
вдоль него вечно бы с тобой брести! —

я искал их, не видя смысла, прости,
больше ни в чём.

Ночью вздрагивал, шёл на шорох,
память перерыл, как рукопись, вспять,
и когда отчаялся их искать,
я нашёл их.

**Из книги
«ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»**

...Но где бы ни бывали мы,
тебя не забывали мы,
как мать не забывают сыновья...
Простая и сердечная,
ты — юность наша вечная,
учительница первая моя!

«Школьный вальс».
Слова М. Матусовского,
музыка И. Дунаевского

ПОСВЯЩЕНИЕ № 1

Свежайшей книгой я порадую
тебя, мой друг, —
так флоксы радуют парадную,
вносимые рукой отрадную
для лучших рук.

Ты, кошка из подвальной темени,
позолоти
глазами в лабиринте времени
мой путь, как золотится в Йемене
песок пути.

Читай, мой преданный, не выпяти
дугой груди
себя, и ко взаимной выгоде
впади со мною в звук, и выпади,
и вновь впади.

ПОСВЯЩЕНИЕ № 2

Ты хочешь, мальчик, книгу счастья?
Бери, она
пусть разорвёт тебя на части,
а ты — её.

Ты хочешь, девочка, чтоб мальчик
про шалуна
тебе читал отмёрзший пальчик
или моё?

ПОСВЯЩЕНИЕ № 3

В моей столь памяти столь многое сохранно,
что — *что* куда девать?
Не знаю, друг. Бывает, встанешь рано —
и начинаешь людям раздавать.

1. МАТВЕЕВА, ЗОТИКОВА И АНТОН

Юноша в небе летит,
с дерева он сорвался,
яркой весны разгорается аппетит,
солнце весеннее, алься.

С девочками двумя пойдём
за гаражи и снимем
трусики: с тоненьким петушком
я постою на синем

фоне небесном и погляжу:
лодочки девичьи!
Руки на лодочки положу.
Дни как царевичи.

Юноша в небе летит,
быть ему без селезёнки.
Кто там паяет и кто там лудит,
лесенки носят, и песенки звонки.

Кто петушков
лижет и ладит гирлянды?
Кто идёт из кружков?
Кто встаёт на пуанты?

Маленьких балерин
белые кости.
Переверни глицерин.
Праздник и гости.

Мальчик, себя мусоль,
членистоногий, —
выпадет белая соль.
Боже, прекрасны Твои дороги.

2. СЕРЕБРЯКОВ

...целует девку — Иванов!

Н. З.

А то ещё весна стократная,
и обморочных облаков
картина в лужах всеобратная.
Идёт домой Серебряков.

Два воробья сидят в числителе
на проводе, и, сократясь,
один слетает, чтоб не видели
его, в прожиточную грязь.

А тот другой ещё топорщится,
и водит тряпкой по доске
вдали забытая уборщица.
И жизнь висит на волоске.

Но как висит! Какие области,
Серебряков, какой просвет
под юбкою, какие полости
тебе обещаны, сосед.

Не ты ли вынимал под партою
проснувшегося воробья
и с ним затеивал азартную
игру, и восхищался я.

Весна стоит первосвященная,
и капли кровельных желез
стекают в рот. О, совершенная
жизнь, обретающая вес.

3. БЕЛОВА

Зажатие в углу Беловой,
дыханье рыбное её,
когда дракон многоголовый
шершавых мальчиков облавой
теснит орущее сырьё.

Каким томливым слабоумьем
тот многохвостый, тот дракон
живёт и пышет многогубьем,
и многолапья многогубьем
задрать Белову хочет он.

И вот по позвонку от шеи
трещат крючки и с мясом рвут
сукно, о, тёмные аллеи,
в которых роют, плотью бляя.
Иван, я помню потный труд.

О, этот миг, когда, зажата,
сопротивление смирив,
она вдыхает пот солдата
из будущего, от обхвата
в себе почувствовав прилив.

О, этот миг, когда насилье
замрёт моей Беловой встречу,
и вот в углу с повисшей пылью
молчанье, солнце, изобилье
секунд, не могущих истечь.

4. АЛЕКСАНДР СТАРШИЙ

Выходит Александр-копьеметатель,
самоуверен, мускулист,
голубоглаз, он весь артист
замаха и прекрасных дам ласкатель.

Заворожён наклонный профиль далью,
рука откинута, разбег,

ног перебор, копыя навек
лёт быстроблещущей горизонталью.

И смотрит златокудрая: вальжанный,
идёт, закончив бранный труд,
а наконецник входит в грунт
плотномягчайший, травянистовлажный.

5. ШАРМАНКА (1)

*время — манная крупа,
крупные пакеты,
грецких шлемов скорлупа,
ёлочкой паркеты,
время шкафчик отворить,
сухари нашарить,
время вермишель варить,
шкварки жарить,
обвалить в муке желток,
вычесть в чашку,
в коридоре счётчик, ток,
в нём вращающийся*

6. ИВАН ИВАНЫЧ

И ты, Иван Иваныч, потихоньку
и помаленьку,
давай-ка с палочкой, навывкате глаза,
глаза навывкате (а дворничиху Соньку
и мужа Сеньку
запустим стороной, как бы гроза,

грозящая тебе, Иван Иваныч), —
на середину!
О Нестор, брызжущий слюною, похабель
для юных воинов дрочливых, глядя на ночь,
вспенив ртину,
среди марта кутающийся в шинель,

давай, гони её сюда на сцену,
всади по локоть,
рукою руку преломив и сделав жест,
высвобождая юных воинов из плена, —
о, эта похоть —
воображенщина дрочливых ест!

«Мой, — говорит он, — дядя самых честных,
когда не в шутку,
он по сих пор заправил дворничихе — так,
что дворник вытащить не мог», — от этих тесных
сношений чутко
вострились ушки и твердел пустяк.

«А то ещё, — он говорит, — с одною
идём на площадь,
а я моряк, а ночь и мрак, а девка смак,
и вдруг она на спинку бряк и вверх копною,
и ржёт как лошадь».
«У-у, — люто зыблется, — какой стояк!»

Ах ты, Иван Иваныч, ах, Амелин,
мудак в запасе,
ведь Сонька с Сенькою тебя подстерегли
в парадняке и задушили, Нестор-эллин.
Никто не спасся.

Нет дворников и пропиты рубли.

Но в небе юноша летит весеннем,
сорвавшись с ветки,
и копыеносец разбегается с копьём,
и по земле копьё несётся тонкотеньем,
и счастье в клетке
Серебрякова бьётся воробьём.

7. МАТВЕЕВ

Пошатываясь, капитан Матвеев
ширинку расстегнёт и, на луну
уставясь и струёй златой прореяв
во тьме, споёт ей «Широку страну».

Он весь из рюмочной, где пол-яичка
и килечку кладут на хлебец,
а после третьей вспыхивает спичка
и полон ум таинственных нелепиц.

Алёна-дочь с женою Софьей Палной
уж верно спят, уж полночь на дворе,
и вот уж капитан опальный
сам спит, храпя под мухой в янтаре,

на кухне, не раздевшись, в кресле,
развесив руки и головой опав
на грудь, — так вот он, крестный
твой путь, Матвеев, о, ты пьян и прав!

Сегодня ты решил задачу смерти,
забыв немедленно, как ты решил её, —
мелькнуло: так же с остановкой сердца:
стук — бытие, нестук — небытие.

И лёгкость словно бы надула китель
и вознесла тебя под облака.
Дочь-школьница, Матвеев-небожитель
и Софья Пална с видом на века.

8. ТАРХОВКА (а)

Произрастения земли
и солнца захождения
непреходящий смысл несли
за телоограждения.
Когда я с Юдиной вдвоём
стоял в полуобъятии,
тритон, замерив водоём,
лежал там, как распятие.
И голубь, с Ноевых высот
слетев, всем Духом заново
явился Иордану вод
и зренью Иоаннову.
И он приноровил родство
своё ко мне бесценное
и вдунул жизни вещество
в лице моё, в лице моё.

9. ВЕРАНДА БЫТИЯ (А)

двери дверные
трели чудесные
скрипы лесные

звери земные
птицы небесные
рыбы морские

10. КЛАССНАЯ БАЛЛАДА

Вержиковский сидит за Покровским,
три колонки, да первый урок,
да слепым Николаем Островским
худосочно-зачатый денёк.

За последнею партою Мосин,
он читает «Кон-Тики» тайком,
это ранняя, думаю, осень,
так что думаю я не о том.

Пусть к доске нынче выйдет Елькова,
пусть расскажет чего наизусть,
я на поле смотрю Куликово
за окном. Поражение. Грусть.

Извлеки мне двусмысленный корень
или в степень меня возведи,
душно мне, я в себе закупóрен,
возраст держит меня взаперти.

Вержиковский достанет свой ножик
и Покровскому в спину воткнёт
за Ларису Дьячук. Сколько ножек!
И ведь каждая линию гнёт!

И Лариса при ножках и с грудью,
и она возбуждает уже,
и склоняет людей к рукоблудью,
и любовь пробуждает в душе.

На собрании спросит директор,
осуждаем поступок ли мы.
Я не знаю, мне надобен вектор,
Вержиковский — мой друг с той зимы.

Ты на двух, говорит она, стульях,
Романовский, сидишь, говорит.
Стыдно мне, уж пушок есть на скулях,
а двуличен. В зеницах пестрит.

Осень туберкулёзная наша!
Ты, Измайлов, за лето подрос.
То-то, видимо, плакала Саша,
когда лес вырубали берёз.

11. ШАРМАНКА (2)

*в нём вращающийся
вращающийся с красной
меткой диска серебра,
с мельком цифры разной,
красный день календаря,
время отрывное,
время в стремя сентября,
в однокоренное,*

*просыпай секунды, сыпь,
как крупу, сквозь сито,
время-корь и время-сыпь,
время шито-крыто*

12. ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ

Аллея
и дворик типичный,
линейка
у серокирпичной,

и астры,
их запах сентябрьский,
прекрасный,
как голос, Синявский,

футбольный,
твой голос плацкартный,
и сольный
проход Эдуарда,

и лучик
из зелени боком,
как лучник
с зажмуренным оком,

уклейка
в извиве горящем,
калека
в вагоне курящем,

и лето,
и, пыльный и бывший,

столб света,
вагоны пробивший,

взять на зуб,
на ощупь и зреньем
ту насыпь
с её озареньем,

и солнце
в песчаном разбросе,
как голос:
умножу, не бойся,

умножу
песчинки прилива,
и ношу
ты примешь, счастливый, —

и только
все грани мелькнули
осколка,
как нас умыкнули.

13. ФИЛОСОФИЯ I

Надо быть себя мгновенней,
чтобы подвиг совершить,
пусть решимость дуновений
ветра научает жить.
Всплеск души твоей не может
быть неправильным, душа

прежних мыслей не итожит,
умностью не дорожа,
и никто не господин ей:
ни философ, ни пророк,
проблеск в тонком слове «иней»
с ней сравним наискосок,
или вздрог вдоль слова «искра».
Ослепительно-ясна,
только проповедью быстрой
жизни высится она.

14. ИСТОРИЧКА

Агнесса Львовна кривляется,
передразнивая Иванову,
и окрыляется,
и кривляется снова,

она стоит подбоченясь,
и вокруг свеченье с
пылью мела,
Агнесса Львовна изгибает тело,

класс хохочет, урока
трать минуты, играй уroda,
в кубе воздуха тридцать три
человека с душой внутри,

Иванов с поршневою
возится ручкой, фрамуга
гарью залеплена с синевою,
и посматривают друг на друга

Корабейникова и Радостев,
не по возрасту радостев
половых знатоки,
да урчат в углах стояки,

да Агнесса Львовна,
Иванов она словно,
идиотничает в кривом пылу
жизни, да на полу

под доскою,
как солдат под Москвою,
тряпка лежит убитая,
окончательная, не даровитая.

15. ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Спросишь ли, зачем фамилий
столько в книге и имён?
Я любитель избытий
исчезающих времён.
Скажешь ли, что ностальгия?
Нет. Я чистый лицедей.
Так считай же, до скольких я
довежу число людей,
восторгающихся ранним
утром, поздней ли порой
моим светлым дарованьем,
не закопанным в сырой.

16. ЦИКАДА

Двор, богиня, воспой с полукружием амфитеатра,
окнами нисходящего к саду с песочницей. Так!
Ночью становится он цирка ареной с незримым
карточным фокусником, раскладывающим пасьянс:
окна то дамою вспыхнут, то королём, то валетом.
Утром раззолотится в них солнце, залюбовавшись
собой.

После уж Дмитрий в плесницах, подобно Гефесту,
умелец,
выйдет и лук смастерит и остроконечные стрелы.
(Сына Петрова трусливопобежного как-то,
прицелясь,
он поразит, и в прыжке над песочницей жертва
повиснет
в пятке с Гефеста стрелой и с мольбой на устах
о пощаде.)

Позже и Люся придёт, и они удалятся в глубины
сада, где нет никого, но однажды среди летнего
полдня
я их увижу, лежащих в объятиях пылких друг друга:
быстро под ними земля возростила цветущие травы,
лотос росистый, шафран и цветы гиацинты густые,
гибкие, кои богов от земли высоко подымали.
Там опочили они, и одел почивающих облак
пышный, золотой, из которого капала светлая влага.

17. ШАРМАНКА (3)

*деревянный гриб с носком,
время, мама, штопка,*

*папа, праздники, партком,
на комодке стопка
годовалая газет,
молоко на плитку,
повернуть ушко на свет,
послюнявить нитку,
за окном ночной трофеей:
мокрых листьев ворох,
точит когти котофей
на мышинный шорох*

18. ВЕЧЕР

На третье в ночь. И тут же, третьего,
иду, и где-то за спиной
брат и сестра плывут Терентьевы,
обнявшись в ласточке двойной.
Каток полурасчищен Сонькою
и Сенькой, деревянный шарк
лопат доносится сквозь тонкую
снег-пелену, и чуден шаг.
Вечерние и благосклонные
часы прогулок и гостей,
висят продукты законные,
промёрзнув до мозга костей.
На третье в ночь. О, вечер третьего,
и переулок за Сенной
(Гривцова, что ли? да, воспеть его!),
и снег стеной, и снег стеной.
Со мною Леночка Егорова,
прекрасна и мгновенна плоть,
есть с чем расстаться мне, до скорого,
я говорю Тебе, Господь.

19. НОЧЬ

Чашки голубого снега,
северный фарфор,
послепраздничный ночлега
дом, и в окнах — двор,

лёжа в радости простуды,
слышишь: ночь не спит
и под мёртвый звон посуды
над столом висит,

над катком висит, и дальше,
и уходит ввысь,
спи, не слушай, мой редчайший,
гости разошлись,

а уж сколько было там их,
чудных, где, светла,
веселилась влага в граммах
рюмочек стола,

а уж сколько их топталось,
от подошвы снег
таял, таял, талость, талость,
разошлись навек,

светом из сосудов неба —
белого зерна,
медленных хранилищ снега
ночь — озарена.

20. ТАРХОВКА (б)

О Юдина, о полуобнятость,
уйдёшь, тебя недораздев,
и эту общую приподнятость
несёшь средь огненных дерев.
О Юдина, часами поздними
я шёл домой и думал так:
запомню навсегда под соснами
вмягчающийся в иглы шаг.
И ты представь себе: запомнилось
не столько то, чем сердце наполнилось, —
веранда светит, как фонарь
китайский, и ночная гарь,
и зубки белыми ягнятами,
и мёд из уст твоих, и мёд
под языком, и ароматами
Ливана дышит алый рот.
И если бы не пошлость, родинку
воспел над верхнею губой,
как пел рождественскую родинку
покойный Сирин, бог с тобой,
и с Буниным, и с их лилеями.
Гуляя тёмными аллеями,
авось сумею прах добыть
и пере- нас -захоронить.

21. ПРОЦЕСС

Торжеств юнейших тел,
касаний их и трений

участник, я грубел
по ходу тех мгновений,
и проникал туда,
куда хотел проникнуть,
чтобы, огонь стыда
уняв, к себе привыкнуть,
ах, греческий божок
во мне другой разжѐг
огонь, труби, рожок,
и поднимай флажок,
ах, семяизверженье
прекрасно тем, что мозг
в нём терпит поражение,
расплавившись как воск,
чем жарче в черепной
коробке, как в плавильне,
тем и оно в цепной
реакции обильней,
тем изойдёшь сильней,
переплавляя порчу
рассудка в жизнь и почву,
пресуществившись в ней.

22. ШАРМАНКА (4)

*время, шорохи на дне
дома, лампа, тѐмен
след от фото на стене,
мел каменоломен
городских, и снега мел
дуновеньем с жести
подоконника слетел,*

*козырь окон — крести,
за окном сизарь дрожит,
пригубивший пригубь,
да закатный луч лежит,
как победный прикуп*

23. УРОК РУССКОГО /ЛИТЕРАТУРЫ

Реальность явна, как корабль,
входящий в порт. Непререкаемо.
Сверканием по борту капль
и разгребаньем грабль река ему.
Реальность видит, как смотрю
в её лицо, и так же пристально
глядит на явленность мою.
В упор глядеть она и призвана.
Четыре серых и весна.
На третье в ночь, и одноногие
в порту краны́ — цапль прямизна —
чуть в области травматологии.
И есть ещё ночной бинокль,
где мир един в своей бесценности,
как если б пострадавших вопль
возник в гудке басовой цельности.
Как цапли две воды, тот сноб,
похожий на тебя, — на выдаче,
как ты, получит каплю в лоб,
на грабли ставши Леонидыча.
И гласной праведной внушит
всему стихотворенью правильность
тройную, как втройне зашит
кристалл в оправленность.

24. НА ДАЧУ

Ночная электричка с лязгом.
С искрой азарта.
У паровоза на Финляндском.
Ту-ту. До завтра.

Летят небесные атласы.
Лязг с нарастањем.
У бюста Ленина. У кассы.
Под расписаньем.

Вагонная скамейка с лоском,
и в чёрном чаде
мельк полустанков. За киоском
«Союзпечати».

Союзпечали видеть тамбур
слеза мешает.
Пусть ударения каламбур
акцент смещает.

У паровоза. Здравствуй, Ленин!
У бюста. Чувство,
что ты кристален и вселенен,
король Убюста.

Нет, нет, неправда, до абсурда
еще далёко,
и красит нежным цветом утро
любимой око.

25. РЯБИНКОВА И АНТОН

Сношений первых воплощённый
друг-Рябинкова
так прыгает на неучёный,
небестолкова,

и так, любезная, елозит,
что неумелый
вот-вот сработает и вбросит
ей плазму в тело.

Развратница неотразима
в своей атаке,
как будто это Хиросима
и Нагасаки.

Ей мало в пламенной свободе
седлать и шпарить,
ей что-то надо, что-то вроде
догнать-ударить.

В каких хоромах состоялось
твоё паденье?
Где неучёному стоялось?
Ночное бденье!

Полоска в талии загара
со следом скруток
резиночки, и круглых пара
в ладонях грудок,

и потолок в итоге плоский,
и смерть забавам,
и простыня, как флаг японский,
с пятном кровавым.

26. ВЕРАНДА БЫТИЯ (Б)

твёрдость скалы
вёрткость змеи
рьяность огня
рваность зари
ствольность сосны
вольность меня

27. ПОД НОВЫЙ ГОД

В окне проезжие разбросы
волнообразных и бескрайних
снегов увидишь и раскосый
зеленогранник,

в чуть затуманенных, забитых
слюдою наледи, в которых
зеленогранник-ель и выдох
жилья в повторах,

в волнообразных и проезжих
полях мелькнёт — и ты увидишь —
огонь, как золотой орешек,
вдали и выйдешь.

И вот она, платформа, хрустом
и вмятиной дана подошвы,
и дальше — сказанные чувством
снега: роскошны.

За мелкою решёткой (надпись
читаешь: «Горьковская») в свите
стоят деревья, как я рад из
вагона выйти

и знать, витой и синеватой
идя тропинкою на дачу,
что позже стих витиеватый
на них потрачу,

что лучший из поэтов в помощь
мне даст жизнелюбивой силы
и что со мною будет в полночь
любовь Леилы.

28. ШАРМАНКА (5)

*рано утром все ушли,
вечером вернулись,
лампы в комнатах зажгли,
выжить извернулись!
Молится, летая, моль
над роялем,
грустная, как си-бемоль,
над лялялем,
в ноты глядя, точно в даль,
ворожит сестрица,
нажимая на педаль,
чтобы звуком длиться*

29. ПОСЛЕ ШКОЛЫ

После полдня, от часа до двух,
возвратимся из школы.
Только нот мне не надо, на слух
проспрягаю глаголы.
Исключения — «гнать» и «держать»,
содержаньем убоги.
Будет время — отвыкнем дрожать.
Преломив слово в слоге,
с полуслова друг друга поймём,
и святое безделье,
обеззвучив, устроит объём
как святое бестелье.
Так уж запах нам пота присущ,
страх провала неумный?
Легче, легче, приверженец куш
райских, ангел бесшумный!

30. ПЕНИЕ И РИСОВАНИЕ

Весны подай сюда, но с фикусом — весны!
Пусть Пасынкова и Панфёров
всей потностью дохнут возни, —
иду на шорох.

Что впереди у нас, что впереди у нас?
Учительница, научи нас.
Кто у дороги, раскричась?
О, это чибис!

Уроков пения и рисованья вдох,
с промытым небом над котельной, —
иконостас из синих трёх
первоапрельной.

Ещё верёвки, но с узлами, но фрамуг,
раззявивших косые пасти,
тяни, мой маленький, мой Мук,
и рви на части.

Вскрывая окна с треском, фикуса балласт —
вот фокус! — за борт, в кучи угля!
Панфёров, дай ей грубых ласк,
её раскукля.

Чулоч с резинкою мелькнёт и край трусов,
дверь, распахнувшись, включит тягу,
ветр путаницей парусов
взметнёт бумагу.

В весну — пока по позвонку бежит звонок —
первоапрельную кричи «бис!»,
лети мне в клювике цветок,
волнуясь, чибис!

31. ВРЕМЕНА ГОДА

Вот Мельникова Ира
сидит в луче косом,
струящемся как лира.
Свет солнца невесом.

С ней рядом Белякова,
алеет галстук-шёлк,
она *всегда готова*.
Свет вспыхнул и умолк.
Васильеву Наталью
отсадят от меня.
Октябрь дохнёт печалью,
осадки урона.
Любители кальянов
под дождик задымят.
Родненко, Емельянов.
Болгарский аромат.
Достать из пачки «Шипки»
одну и закурить,
увидев зимней зыбки
качнувшуюся нить.
Иль затянуться «Солнцем» —
и к форточке потёк
сходящимся уклонцем
синеющий дымок.
Потом, сугроб угробив,
приходят март, апрель,
и ты меняешь обувь,
носимую досель.
Потом гремят потоки
из водосточных труб,
и, прибывая, соки
квадрат возводят в куб.
Из девичьего мира
иди ко мне: любя
к тебе приближусь, Ира,
и обойму тебя.

32. ИМПРОВИЗАЦИЯ

Узнаю вокзал я Витебский,
помню, помню, на вокзал
за киоском тем, за вывеской
той малёванной шагал,

за квадратом красным, чёрным ли
мимобежного окна
жизнь ютилась, утки чёлнами
чуть покачивались на,

там жила моя любимая
в царскосельскости своей,
свежесть непоколебимая
мартом веяла ветвей,

ветви веяли дрожанием,
воздух в искренности был
собственным неподражанием,
леонидовичем сил,

но особенно вечерними
привкус гари был хорош,
сигарет и спичек серными
огоньками вспыхнув сплошь,

и летел по небу огненный
за составом след души,
с кисти жалостной уроненный
живописца из глуши,

ах ты, Витебский, немислимо
мне сегодня проезжать

всё, что вижу, и, завистливо
в полночь выглянув, дрожать,

и заглядывать за грань тоски,
с верхней полки спрыгнув жить.
Так ли, так ли, милый Анненский?
Выйдем в тамбур покурить.

33. ФИЛОСОФИЯ II

Прими, грядущее, забывчивость
мою! Как ветви в голубом
плывут, забыв ветров забывчивость,
так, память, мы с тобой гребём:
спиною к финишной ленточке
на финишной из прямых,
по Малой Невке (той же Леточке),
при чувствах праздничных, при них.
Лицом к тому, что удаляется,
но прояснясь. То-то мрак
тобой и мной наутоляется,
когда, устав, затихнем, как, —
в колени лбы уткнув, угробившись
в дым на дистанции, в клочках
небесных вод, утробно сгорбившись, —
гребцы, — горошины в стручках.

34. ШАРМАНКА (6)

*рыщет ли попятный тать?
свистопляшут черти?*

*Ничего не должен знать
человек о смерти.
Не его это ума
дело, без участия
человека смерть сама
разберёт на части.
Поплывёт душа, от нас
отделясь, над нами
слухом уха, зреньем глаз,
насыщена днями.*

ПОСЛЕСЛОВИЕ № 1

Екатерина Александровна,
вот перочистка, я её,
кружками вырезав материю,
сшивал и дал ей бытиё.
Екатерина Александровна,
вот это прописи мои,
я букву А писал в них строчкою,
и буквы Б, В, Г, Д, И.
Екатерина Александровна,
тетрадь в линейчку сдаю,
в ней упражнения записаны,
там есть ошибки, не таю.
В ней промокашка розоватая
любима из последних сил, —
так нравится мне проступание
и расплывание чернил.
Екатерина Александровна,
я вижу совершенно Вас
и адресую с юной робостью
Вам «Школьный вальс».

ПОСЛЕСЛОВИЕ № 2

Олейников, что скажет критик?
Что скажет критик, Пастернак?
«Не из своих поэтик вытек!» —
вот что он скажет. Он дурак.
Люблю столбец Ваш, Заболоцкий!
Раскидывавший вдрызг мозги,
Гомер, люблю Ваш пафос плотский!
Нам с Вами не до мелюзги.
«Какой-то Йемен, — нюнит критик, —
путь, золотящийся песком...»
А я воскликну встречно: «Нытик!
Что в Йемене тебе моём?»

ПОСЛЕСЛОВИЕ № 3

Свершив мгновенно подвиг ратный,
позволь мне попрощаться вдруг
с тобой, читатель всеобратный,
брат всечитающий и друг.

**Из книги
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»**

*Памяти моего дорогого племянника
Серёжи Максимова*

* * *

*птица копится и цельно
вдруг летит собой полна
крыльями членораздельно
чертит в на небе она*

*облаков немые светни
поднимающийся зной
тело ясности соседней
пролетает надо мной*

*в нежном воздухе доверья
в голубом его цеху
в птицу слепленные перья
держат взгляд мой наверху*

* * *

Любезный брат и друг духовных выгод,
когда я вижу мост, я мыслью выгнут,
а сердцем серебрясь, как под мостом
течение малейшим лепестком.

Великотрепетный мой друг светлейший
(немедля назовём ветлу ветлейшей,

а то ещё бесследно расхотим),
приветствую тебя, ты мне родим!

Возьми хоть что, хоть жизнь автомобиля,
смотри, как он проносится, двужилия
и шинами шипя то «ш-ши», то «ш-шу»,
и я ему с обочины машу.

Собачиной, я слышу, брат вольготный
(поскольку для Господней воли годный),
меня подразниваешь, вот и зря:
собачина к обочине, сестря,

по сути льнёт. Я весь живу, и весь я
добычей стану птичьей поднебесья.
Как изумруд травы я изумлён:
все изомрут — едва лишь из пелён.

Задумайся, на рассмотрение падок
вопросов с разноцветьем праздных радуг,
духовных пагод друг и нежный брат,
над тем, чему так горестно я рад.

Чему ряд писем, брезжущих в словарном
внезапном срезе кварцем лучезарным,
я посвящу и, птичками сложив,
пущу в неукоснительный прорыв.

БЕЗУМЕЦ

Средь навзничь облетевших зодчеств,
в дождях косых,
я был свидетель крупных одиночеств,
причём своих,

и горько плакал, но потом, упорчась
в себе, затих.

В руках есть мячик, он резинов,
его подбрось —
и он летит, пока я, рот разинув,
стою, небось,
вздымая руки, и затем, раскинув,
их вижу врозь.

Ты спросишь, много ли в том проку?
Но света сноп
идёт сквозь это лыко в строку.
А мячик шлёп —
и катится себе неподалёку.
И день усоп.

Я приближенью ночи рад уж
совсем: строчит
швец травчатый, и хор древесных ратуш
во мне звучит,
и слышу проходящий шёпот: «Брат наш
опять мычит».

Они прогуливают перед
тем, как прилечь,
себя, а то замедлятся и впёрят
свой взгляд, как с плеч
его долой. — По-видимому, верят,
что я их речь.

«Ий-ий», летя, мне вторят птицы,
«ий-ий» вдали,

пока к заутрене я им гостинцы
крошу земли,
а там идут и гасят свет гасинцы.
«Ий-ий!» Ушли.

ЦАПЛЯ

*Сама в себя продета,
нить с иглой,
сухая мысль аскета,
щуплый слой,
которым воздух бережно проложен,
его страниц закладка
клювом вкось, —
она как шпиль порядка,
или ось,
или клинок, что выхвачен из ножен*

*и воткнут в пруд, где рыбы,
где вокруг
чешуй златятся нимбы,
где испуг
круглее и безмолвнее мишени,
и где одна с особым
взглядом вверх,
остроугольнолобым,
тише всех
стоит, едва колеблясь, тише тени.*

*Тогда, на старте медля,
та стрела,*

впиваясь в воздух, в свет ли,
два крыла
расправив, — тяжело, определённо
и с лап роняя капли, —
над прудом
летит, — и в клюве цапли
рыбьим ртом
разинут мир, зияя изумлённо.

МЕЛОДИЯ

Слышишь, слуху повинуюсь,
тихий рост травы?
Волны к берегу, волнуясь,
припадут, волхвы.
Припадут, в песок зароясь,
поднесут дары,
радость хрупкая, как робость,
утренней поры.
Звук идёт переливаясь:
Валтасар, Каспар,
Мельхиор, — перевиваясь,
превращаясь в пар.
В пар, в дыхание дитяти.
Бог, и Царь, и Смерть
в Нём раскинут, как распятые,
тройственную сеть...
Но покуда — сеть рыбачья,
пристальный покой,
пристань, редкая удача
лодочки вон той.

НА ЮГЕ

Стих вьётся — виноград, терраса,
над морем акробатка-радуга, —
пробежками аллитераций —
длиною в два-три слова — радуя.

На «эл», на «эф», на «и», на «цэ», на «ю»,
насквозь светящуюся гостью,
всю алфавитицу бесценную
увидю розоватой гроздью.

И косточки из гласной мякоти
зреть будут мир, и в дробном взоре
согласных — с вольностью грамматики —
вскипит и усмирится море.

КЛАССИЧЕСКОЕ

Когда умрёшь и станешь морем
с безликим разумом его,
ещё рифмующимся с горем,
но забывающим родство, —

тогда ты в раковины эти,
в их розовую белизну,
вшуршишь с песком тысячелетий
свой шёпот и предашься сну.

И будет этот сон огромен,
как затонувший мир, как свет

затопленных каменоломен,
которого повсюду нет.

Повсюду — нет. Но зренья редкость,
но, как испарина во сне,
накрапа краткая конкретность
проступит вдруг на валуне,

но птичий шаг, но тихий ужас,
но время хищное в зрачке,
но шатким тронем краб, напряжась,
ещё топорщится в песке.

ДВА ПТИЧЬИХ ФОКУСА

1. ЗИМОЙ

*Незримые, но к зренью по пути,
под солнцем накренившись в небе зимнем,
рассеребрятся голуби, — почти
как из кармана фокусника в синем
пересверкнёт в подбросе конфетти.*

2. ЛЕТОМ

*Внезапный дрозд стиха на ветку прыгнул
и ветку выгнул.
И так зазеленело со двора,
что стало пять утра.
Потом второй туда слетел, пружиня,
и засвистел, разиня.*

*Мгновенье — и прижился он,
прижимистый до жизни, цепкий сон.
У третьего смеялся в клюве листик.
Кто, Велимир,
их траектории рассчитывал? Баллистик?
Сорвавшийся с когтистых растопыр
(мир так безосновательно был вынут
и вырезан внутрь яркости своей,
как ящик фокусника: выдвинут и вдвинут) —
ты кто, перепорхнувший средь ветвей?*

НОЧЬ

Дежурный чай. Сиди, немей. Длинна
ночь. Безусловный воздух свеж.
Кому ты говоришь: немедленно
меня утешь?

О смерти не пытай. А то ещё
сойдет с невидимой оси, —
и не услышишь голос, тонущий
в ночи: спаси.

Я знаю, ангел мой: тоска. Давай
без тёмных таинств. Продержись
в своём уме и не разгадывай
свою не-жизнь,

где не вдохнёшь ни ночь, ни таянье
снегов, ни даже эту тишь
с чайнкой чистого отчаянья
не ощутишь.

Неоспоримых звёзд раздрызг, и на
ветвях сверканье, и не смей
пускаться в пряный бред изысканный.
Сиди, немей.

ПРОГУЛКА

В осеннем воздухе знобящем,
да в сером городе болящем,
да в переулочке глухом
аттракцион маячит шатко —
«Качающаяся лошадка».
Дитя верхом.

А дальше чуть, на тротуаре,
в пантомимическом угаре,
сидит дурак и мечет взор.
Сиди себе, жестикулируй,
веди с невидимою лирой
свой разговор.

Змею погибели на впалой
груди пригрев, с листвой линиялой
в своих лохмотьях заодно,
шипит: другого-то не сыщешь
нигде, ты слышишь?
Мне всё равно.

Другого? Сам себе не ровня,
спокойнее и хладнокровней

смотрю извне,
как жизни маленькие смерти —
секундный шаг в осеннем свете —
идут во мне.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

Вот-вот начнётся штурм.
Кленовых листьев взвод
вдоль тротуарных урн
и фонарей ползёт.

Вчера захвачен парк,
теперь вдоль мостовой
шарк гимнастёрок, шарк,
ползущий шарк живой.

На выкрик ветра все
взметнутся, и — внахлест —
за взорванным шоссе
взлетит на воздух мост.

Миг битвы золотой, —
и, медлящий упасть,
за третьей высотой
взвод ляжет в жаркий пласт.

И если по ветвям
свет солнца пробежит, —
какой светоний там
среди цезарей стоит!

* * *

Олегу Вулфу

В пехотный холод снаряжайся,
непререкаемый мой брат.
Я говорю листве: снижайся! —
она снижается. Я рад.

Сзываю белок узкомордых,
они как букочки на вид,
а то ещё журавль в ботфортах
прощальным образом стоит.

Беспрекословный брат! Кочуя,
где славишь царственный удел?
Поверишь ли, вчера, не чуя
себя, летал над миром тел.

Когда в небесный край нас примут,
когда из розничных забав
телесно бедственных изымут, —
не будет ли Всесильный прав?

Сегодня тихо и свежайше
дохнуло холодом с холма.
Я снегу говорю: снежайся!
И он снежается. Зима.

НА ФОНЕ ГОРОДА

Человек вращает яблока полуогрызок
средним пальцем и большим,

указательный к ним тоже близок,
белозубый человек непостижим.

У автобуса прощаются ступенек
молодые, обострившимся лицом
плачет девушка, и глаз её, как пленник,
скорбно смотрит над его плечом.

И поёт нежданно женщина проездом,
серебрится поезд в темноте,
никому своим весельем бесполезным
зла не делает, и нет его нигде.

ИЗ КАТУЛЛА

Я как вспомню ревность, мальчик: она с другим,
и увижу, что они делают, мальчик, — страшной,
чем смерть.

Но теперь сравнится с этим только «хер с ним».
Или «с ней». Но ещё равнодушной. Посмеиваешься?
Не сметь!

Ни как он ведёт меж её ветвей сладостную ладонь,
ни как пальчики её прикасаются к явственному суку,
я не помню. Ни как их объемлет, так твою мать,
огонь.

Хоть убей, их стенанья, мальчик, — поверишь? —
не на слуху.

Да горит тот проклятый год в необратимом огне,
о, во веки вечные, с ненавистью моей. — С такой,

что, когда бы не сделал небывшим бывшее
Всемогущий, мне
бы пришлось, бы-бы, бы-бы-бы, это сделать своей
рукой.

И когда бы нынче мы пахотой с ней занимались,
и соль
разъедала бы спины наши, плечи, мальчик,
лобки и лбы,
и она меня спрашивала бы, пахотно ль, хорошо ль,
как тогда, сослагательно выл бы в плечо ей:
бы-бы-бы.

Но теперь не то. Клетки мозга, в которых стояла вонь
и по зверю жило, и всяк в том зверинце сжирал своих,
опустели и отмерли, мальчик. Меж тех ли ветвей
ладонь
я веду? Не помню, — сильнее, чем мёртвый
не помнит живых.

ТОЛСТОЙ

Я с точностью объёмной лепки стойкой
мир запущу,
сledi за небывалой стройкой
и стайкой птиц, летящих сквозь
каркас, за размышлением, плющу
подобно, вьющимся, — и восхитимся врозь.

Пожалте в человеческий зверинец!
Вот мягкий вплыл

хозяин, а жена, мизинец
оставив, попивает чай,
румяный рот красавца, пряный пыл
и вздор политика, — а рядом? — привечай

того, кто всех окажется сердечней,
кто отведёт
в смущении свой взгляд от встречной
неправды, оттого ли, как
рассевшись в кресле, шутит идиот,
в лорнет рассматривая собственный башмак.

Расти, спокойный дом гостеприимства,
где вечера,
и пунш, и столики для виста,
и всплеск из детской голосов —
два брата, две сестры, ещё сестра, —
и эхом всплеска отзовется бой часов.

Пусть кто-нибудь весной воскликнет: «Лёгко!»
И следом мне
напишется так многооко:
«Он отворил окно», — и вдох,
отрадный вдох, и силуэт в окне,
и голос девичий, — всё станет ясно: Бог.

Тогда я двину войско против войска,
и роевой
закон движения (повозка
в грязи, солдат налёг плечом)
мир обезличит песней строевой
и общим — в нервном оживлении — лицом.

Следи, как я отстрою мир громадный
на пустыре,
оставив средь пролётов мятный
трав аромат, в июльский день
начав, когда, упорствуя в жаре,
дуб оживёт листвою, — и дрогнет светотень.

Вот здесь он и умрёт, на этом месте.
И если грех,
то — гордости ума и чести, —
взглянув с презреньем и пожав
плечами, ибо на глазах у всех
нельзя иначе. Так! И в смерти моложав.

Нежно-насмешливый с ним прекратится
двусложный взгляд,
но переливчатый родится
в двойном определенье звук
и сопряжёт цветенье и распад.
Нежно-насмешливый, прощай, геройский друг.

Смотри, как я свяжу намёки, жесты,
обмолвки, сны,
мужской театр войны и женский —
сочувствия, смешав их кровь, —
в единый узел, в прозу новизны,
в судеб скрещение, — и восхитимся вновь!

И вновь заложником безликой силы
предстанет мой
герой рассеянный и милый,
и торопливость палачей,
их рук, увидит, и расстрел самой,
сугубой, дышащей, мгновенье — и ничьей,

божественной, великолепной, явной,
не может быть,
чтобы моей, простой, бесславной,
живущей жизни. Что ж, мой свет,
бессмертная душа, учись любить
без той привязанности, без которой нет

любви. Но есть. Когда читаешь неба
ночную синь
как книгу бытия, то где бы
вчера ты ни прервался, ты
находишь то, что твёрже всех твердынь,
всё в той же ясности, в обвале немоты.

Когда-нибудь, уже постигнув книгу
насквозь, до дна,
осилив мощную квадригу,
в печальнейший, быть может, час,
ты не найдешь её, и чья вина,
скажи, что мир исчез и обошлись без нас?

Есть здравый смысл посредственности, он-то
непобедим, —
его ухватистость животна,
есть продолжение рода, есть
растительная страсть, есть прах и дым.
Не в них ли и пресуществился мир? Бог весть.

ПОКУПКА

Я вышел выйти,
потом в рассеянности сбоку
ненужную купил вещицу,
забыл какую,

осеннее ласкалось солнце
котёнком неба,
«мяу...» — окликнуло, но дальше
опять не помню,

вещицей оказаться море
могло, — так в блеске
глухонемое
и в тишине лежит — ни всплеска,

и сам себе
воздушной почтой
я переслал его, чтоб стало синеве
без мысли проще.

НАЧАЛО ЗИМЫ

Фигурка глиняная в кресле,
в изменчивых объятых белых.
Электропередачи крестный
ход мимо дома престарелых.

Вот в кресле привстаёт калека
и Господа о чём-то просит,
и вертикальный ветр эль греко
вдруг вытянутого уносит.

Лети, приятель-сновиденье!
Во славу небосвод расколот
тебя и резкого паденья
температуры. Ясный холод.

* * *

Случается, днём переулочным
катают больное дитя.
Столкнёшься со взглядом придурочным,
и слёзы задушат тебя, —

так бродится зябка в тиши ему,
как если б он был обращён
всей нежностью к Непостижимому,
отвергнут и тут же прощён.

* * *

*Боже праведный, голубь смертельный,
ты болеешь собой у метро,
сизый, всё ещё цельный.
Смерть, как это старо!*

*Ты глядишь на обшарпанный кузов
мимоезжего грузовика
и на гору арбузов.
Пить, впиваться бы в мякоть века.*

*Воздух. Жар. Жернова.
В этом белом каленье
изнутри тебе смерть столь нова,
сколь немыслимо в ней обновленье.*

*Или чувство твоё
новизны так огромно,
чтоб принять Её в силу Её,
Боже горестный, голубь бездомный?*

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЬЕСА

Сначала дверь со скрипом, пауза,
со скрипом отворяет он,
и видит воздух цвета паруса,
и медлит звуковой наклон,
ещё чуть-чуть — и разыграется,
сарай дощатый в световых —
сквозь щели — струнах разгорается,
и следом вспыхивает стих.

Он струнные пласты складирует,
и вдруг в раскрытое глядит,
где вся во фраке, вся солирует,
вся эта ласточка летит,
вся эта ласточка, в извилистом
изливном звуке исхитрясь,
вверх падает всем тельцем жилистым,
на солнце искренне искрясь,

и, удалившись в точку таянья,
уже невидима почти,
почти что противостояние
кусту весомых чувств пяти,
на милостивое снижение
идёт и нотой в синевах,
ей данных в чистое служение,
звучит, занежась на крылах.

Тогда от индивидуального
её паренья оторвав
свой взгляд, забывший в пользу дальнего
оркестр подручных переправ

на берег точного, древесного
распила, — он ведёт, как строй,
смычковый гул соседства тесного
на тес дымящийся, сухой.

Оркестр в подмышечных подпалинах,
и первый слышится раскат
ударных, — с улиц ли, расплавленных
жарой, доносится обряд,
и похорон в провинциальности
какого-нибудь городка
свидетель, жертва их тональности,
дитя глядит на облака, —

гремит ли по соседству кузница
и раздуваются ль меха, —
он знает: свод громами грузится
в согласие с музыкой стиха.
Крестись, дурак, крещендо мощное,
сирени в крестиках озноб.
Он наклоняет лоб наморщенный.
Рабочий день, тесовый гроб.

Сосновый лес за лесопилкою.
Он радуется не спеша, —
там разогретая и пылкая
остужена его душа.
О чём ты, пьеса бесполезная?
Сон за стежком ведёт стежок,
покуда ласточка, как лезвие,
не разошьёт ночной мешок.

СОН ПАМЯТИ ДРУГА

Как дерево корнями,
вглубь прорастает сон,
и зыблется огнями,
перевиваясь, он.

Перебиваясь с хлеба
на воду тех краёв,
где очевидней небо
и безусловней кров,

он миг спустя петляет —
и, невесом и тих,
бродяжит и плутает
в краях, где нет живых.

Ни рая нет, ни ада,
ни логики земной,
но умершему надо
там встретиться со мной.

Там, как в часах песочных,
как перешёпот двух
времён, сторон височных,
есть абсолютный слух

у жизни и у смерти,
на перешейке сна.
Прильнув к тебе, на третью
ночь, донырнув до дна,

я спал, и было сладко
мне этой ночью спать,
так в книге спит закладка,
уоставшая читать,

в созвездье слишком близких
букв, чтобы видеть. Но
душа, казалось, в бликах
ночных, с твоей — одно,

душа, казалось, сдастся,
и ей в земной придел
вернуться не удастся.
Да я и не хотел.

ПАМЯТИ ЛЬВА ДАНОВСКОГО

Как до тебя, оставшегося впереди,
намеренным, или случайным,
или чрезмерным словом, но дойти,
избыточным и чрезвычайным?

Рехнувшееся ремесло.
Как если бы слепой стекольщик
алмазом воздух резал как стекло,
полотен световых раскройщик,

и мнимые квадраты полотна
оконного, ощупывая небо,
отбрасывал и близил отсверк дна,
и вдруг — добыл его и озарился слепо.

ПАМЯТИ ВОЛОДИ ДВОРКИНА

На Северной Двине, за Нижней Тоймой,
белеет вечер, навсегда спокойный,

и так воде и небесам легко,
что видишь дальше смерти, — далеко.

Вдоль Северной Двины, за Нижней Тоймой,
идём с тобой мы,

вдыхая воздух, на его блесну
попавшись. Слово странное: взгрустну.

На Северной Двине, где есть районный
центр, поднимай стакан гранёный.

Продмаг с крупой и плавленым сырком.
Что в горле? Ком.

На Северной Двине, за Нижней Тоймой
позвякивает вечер рукомойный.

Куда ты смотришь? Что там вдалеке?
Малец несёт подушечки в кульке.

И стелют небеса, и верхней тайной
летит, летит печальный отблеск стайный.

* * *

Женщина смотрит на беглые очертанья
облака, на летящее его таянье,
щурится, говорит: он там.
— Где? — Вон там.

Это утро на финском
взморье, сосновом, близком.

Мальчик, завёрнутый в махровое полотенце,
и полусолнце из полудетства.
Он балансирует на одной ноге
невдалеке.

Это первые затеванья
возраста: переодеванье.

Девочка на прибрежной
полосе тут как тут, —
от одного песчаного замка нежный
танец к другому, бабочки необязательный труд.

Это тельца её свеченье,
это первый укол влеченья.

День измеряется тиканьем
на мелководье мальков,
с их прозрачным и тихоньким
тиком и позвоночной извёртливостью рынков.

Это первые выпаденья
в Его владенья.

День измеряется перебиранием
ягод вечером ранним,
отрыванием звёздчатой зелени
от клубники и обнажением её белокруглой лени.

Это первые утоленья
взгляда на облако в отдаленье.

* * *

Моей сестре Инне

Мы остались на поверхности земли
колыбельной песней для того,
кто ушёл, кто дальше, чем вдали,
кто утратил жизни вещество.

Как дитя укладывает спать,
наклонясь над колыбелью, мать,
так и мы с тобою жить должны,
над землёй склоняясь, навсегда нежны.

Видишь, спящего и сон не разделить, —
слухом стань и поступишь собой,
чтобы сетованьем не будить
тайного безволия покой.

Мать отводит истощённый взгляд
на окно, на законный сад, —
ни живой ни мёртвый, он притих,
словно там отсутствие сошлось двоих.

* * *

*Возьмите летящего вдоль воробья,
его совершенный комок, —
он сделан как будто за миг до вранья,
ему человек невдомёк.
Возьмите сидящего вдаль воробья
на ветке, протянутой вбок, —
он сделан из тоненького тряпья,
которое дал ему Бог.*

*А если воробей умрёт, его из глины
Исус обратным обжигом творит
и выпускает в воздух, в вечер длинный, —
и он летит.*

АСТРОЛЯБИЯ ЖИЗНИ

На свете счастья...

А. С. Пушкин

В серенький день
оказаться в Царском Селе,
в серенький, ты не спорь, моя тень, —
я в полухолоде, ты в полутепле,

выпив, конечно, иначе-то
как бы увидел себя
счастьем, которое только что начато,
чёрная в блёстках скамья.

В серенький день
пробрести меж дворцовых камней.
Это работа на местности, тень,
и астрябия жизни моей.

Астр тяжёлый букет
от привокзальной нести
площади, каплющей на просвет
и освещённой капельницами к шести.

В колбе, которую царственный Сам
держит, дышать и на ней
видеть по выгнутым небесам
будущий промельк огней,

высветивших чуть заметного
в центре, как остановленный кадр.
Разве на свете нет его?
Нет, Александр?

СТИХИ ДЛЯ ЕЛЕНА

1

стремянка за кухонной дверью
верёвки сушёных грибов
недолго спать ёлочному зверью
приближение слышится скрипов

есть тяжёлая на антресолях
коробка до поперечно-продольных
ран перевязанная да пыль в углах
где рулоны обоев зелёных

есть игрушек насесты-гнезда
в той коробке избушка кругла
а на крышу как синий воздух
снега белая шапка припухло легла

и в окне её несгораемый золотой
свет орешек грызёт на верхней
ветке белка бочоночное лото
ты найдёшь подарок заветный

но потом потом а пока буди
рыб и птиц картонного серебра
в серпантинной пёстрой сети
и бегущего лыжника шара

шар в котором вырезан внутрь
конус переливающийся достань
с усыхающей ёлки в одно из утр
упадёт тонкостенной игрушки склянью

перед этим лёгкая осыпь игл
чуть коснётся слуха потом потом
я тебе подарю то что мне дарил
в мандариновом свете дом

а пока стремянку расставь раскрой
антресолей дверцы и бельевую
на коробке развязывай мой
драгоценный верёвку простую

2

Прийти туда платановой тенистой улочкой,
песок слепяще бел, а если ступишь,
то обжигаящ, ракушек кулёчки
крошащиеся собирать на бусы,

в ларьке их, крашенные, продают приморском,
хочу мороженого, море оловянно
синеет, белая медуза мозгом
плывёт или на берегу мерцает вяло,

кружок картёжников: мурлычет первый,
второй, как веер, распускает карты,
у третьего на среднем пальце перстень
массивный, со «Спидолой» пятый,

и кромкой моря с осликом фотограф
идёт, как если бы ходила радость,

ребёнок с топчана бежит и, ослика потрогав,
смеётся, ласковая безвозвратность,

потом он обернётся на родителя,
во взгляде храбрости огонь победный,
но и смущение, в безделье длительный
день тянется, как водоросли в бредне, —

потом вернуться в пахнущую солнцем
и краской пола комнату, и перед этим
увидеть новых дачников, морскою солью
у девочки плечо чуть серебристо светится.

ОДА ОДУВАНЧИКУ

На задворках, проложенных сланцевым
светом, — вот он, на глянцево
стебле. Воткнут.

Воткнут. Сорван, — змеиное молоко —
тонкий обод, —
бел и лёгок, как облако,
распыления опыт, —
вот он, дóбыт.

Точно лампу, несу его медленно,
мне так долго не велено, —
вечереет, —
вечереет вчерне, — мне не велено.
В небе реет
то, что прахом развеяно
на земле, быстрый лепет.
Но не греет.

Долго так не гуляй, мальчик с лампою.
Эту оду я нам пою.
Эта ода
Одуванчику, слепку и копии
небосвода,
и себе в том раскопе, и —
мне там трижды три года —
жизни ода.

Шевельнись — и слетит с Одуванчика
пух, с цветка-неудачника.
Помню шёпот
мамы: «...роды...» — (о тётушке) — «...умерла».
Села штопать.
Или, скажем, пол подмела.
Распыления опыт.
Вот он, дóбыт.

Точно лампу, моргнувшую на весу,
на пустырь его вынесу,
и вот-вот свет
Одуванчика сгинет безропотно.
Там, где нас нет.
Дуй! — он дёрнется крохотно, —
в мире что-нибудь лязгнет, —
и погаснет.

* * *

завёрнутая в одеяло
кастрюля варёной
задохшимся жаром пылает
за дверью слегка притворённой

ждёт после работы
ещё носоглотки лечение над паром
ещё с боковой застёжкой боты
сырым тротуаром

ноябрьским и день рожденья
и левитановы обращенья
картофельный бело-рассыпчатый сон
жизнь я потрясён

вниманье твоё скрупулёзно
столь близкую даришь
мне встречу с кем розно
и в памяти шарить

и там обещаенье
находишь такое
как медленное обнищанье
календаря отрывное

как если бы помнил оттуда
сегодняшний день
задохшимся жаром пылает причуда
и замертво падает тень

* * *

Как у зеркала, напомаживая губы,
делала их немного внутрь,
и тогда розовели зубы.
На работу выход в раннюю утварь утр.

Там застёгивается вдали Нева,
как течение времени, на прозрачный лёд.
И остроги и острова
коченеют, и ярко дымит завод.

И глаза слезятся по Цельсию.
Те сцепленья льдин,
остановленная процессия, —
это время, ставшее в будущий миг один

образом. Теста под полотенцем замес
вафельным в одну из суббот.
Вечерами играла вдруг полонез
Огинского, смеясь и сбиваясь с нот.

Вот что осталось от жизни:
запах холода в чёрно-бурой лисе,
тёмно-сине-зелёные выси
неба зимнего, преломляющиеся в слезе.

* * *

Он убедительно пророчит мне страну,
Где я наследую несрочную весну...

Е. А. Баратынский

Когда я поворачиваюсь на бок
и вижу в полусне тахту, и пару тапок
под ней, и на тахте отца,
как он лежит, вдруг всхрапывая, в той же позе,
что я, когда в подушку пол-лица
вмяв, руки на груди скрестив, когда, как в прозе,

я в сумрачную комнату вхожу,
в деепричастном полуобороте
его запоминая, и вожу
пером по белому листу, темнеющему вроде
окна, где снег и небо пополам,
и день кончается и гаснет по углам,
когда, почувствовав мой взгляд
или услышав половицы
скрип, он проснётся, невпопад
почти что крикнув со страницы:
«Что?» — «Ничего, — отвечу, — спи,
мне это снится».

НАЧАЛО

Давай готовиться. Уложим готовальню:
рейсфедер, циркуль, транспортир.
Путь дальний.
Вот измеритель. Вот пустырь.

Пространство белое зимы, шершавый ватман,
пенал, набор иголок, тушь.
Слух ватный
после болезни, в горле сушь.

У кочегарки свален уголь. Вот угольник.
С крест-накрест шарфом на спине
невольник
рассмотрит карту на стене.

Все концентрические трещины в паучьем
порядке перед ним рябят.

Заучим
райцентров имена, мой брат.

Давай готовиться. Горит с подщёлкой тара.
Ты из какого, кингисепп,
кошмара?
Иль это сланцы? Я ослеп.

Мне тосно в киришах, рычит на тихвин волхов,
и колтуши лежат ничком.
Ни вдоха.
Ни даже признака ни в ком.

Нет никакого выборга в металлострое.
Откуда взялся этот бред?
Сырое
пространство, проездной билет.

В калошах хлюпает. Зима слаба в коленках.
Вот кинохроники с утра,
на лентах
мерцанье страха. Мне пора.

Фонарно-точечный. Неоново-фонарный.
От горя к горю перебег
угарный.
Гарь времени легла на снег.

Посадки-допуски, тиски, напильник, фаски,
жёлто-ремонтных мастерских
две фрески, —
полуподвальных окон дых.

Когда с посадочным, уже затеяв бегство
от производственных резцов,

от бедствий
труда и лозунгов отцов,

заходишь в слякотный вокзал гудящих пазух —
вокал бетона и стекла
в запасах
тоски велик, сиянье, мгла —

и в тамбур лузганный, перешагнув расщелье,
с платформыходишь, — нет тебе
прощенья
в повиновении судьбе.

* * *

*В голове у голубя
нет воображаемых картин,
в сизой треугольной проруби
с лапками «три дробь один».*

*Только льдинка глаза вертится:
то что есть точь-в-точь я то что есть, —
азбукой морозной светится
не от мира весть.*

* * *

Я более люблю
всего, когда врасплох
из ничего ловлю
сознания сполох.

Оттуда, где привык
не быть, из ничего —
краеугольный сдвиг
в земное существо, —

я более люблю
вещественную весть
его, чем жизнь саму.
Он лучшее, что есть.

А ночи не страшись
и утра не проси,
рукою дотянись
и лампу погаси.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Был праздник, шли крикливые латинос,
визжала санитарная сирена,
и площади в огнях цвела арена
(в один из дней, в один из дней, в один из).

И вдруг всё истончилось, мимоходом,
и, нежная, из праздничного гула,
день обезличивая, ночь прильнула
(да что там ночь, да что там),

и из окна романс донёсся: «Если,
как звёзды, мы с тобою отпылали,
была ли жизнь, была ли, ла-ли, ла-ли?
И есть ли, есть ли?»

Пока там некто пел, точнее — пепел,
я бросился к витринной чёрной плешу,
где должен был бы встречным быть себе же,
но не был.

**Из книги
«ЛАДЕЙНЫЙ ЭНДШПИЛЬ»**

УЧТИВОСТЬ

Такси с коврами, впихнутыми в пасть
багажника, — иранцы! — мчится мимо,
чтобы, вписавшись в поворот, пропасть.
Совсем пропасть? Совсем. Невозвратно.

Японец на почтаме несёт письмо.
Над ним, в тяжёлой грации движений,
два облака, как два борца сумо,
плывут на юг, толстая от сравнений.

Щепотка мексиканских женщин ждёт
автобуса, который на подлёте
и скоро подчистую их склюёт.
Совсем склюёт? Совсем. Прощайте, тётки.

Прощайте, люди. Временная жизнь
почти прошла, — сужаясь как воронка,
она меня сверлила: ужаснись!
Но я безмолвствовал и улыбался тонко.

БИНОКЛЬ

Меня бинокль привлёк,
и я купил бинокль.
Далёкий мотылёк,
ты так же одинок ль?

Ты так же близорук ль,
когда, надев очки
(твой взгляд — горящий уголь!),
глядишь в мои зрачки?

Простая сила линз —
и мы с тобой уже
не плоть, и желчь, и слизь,
но тихий гимн душе.

ПРИЧАСТИЕ

Небеснейшее помню дуновенье
в трамвае на Литейном, ясным днём, —
я совершенно умер в то мгновенье,
но вспыхнул свет — и я очнулся в нём.

С тех пор в тоске я замираю часто
и думаю, что этот чудный сбой
есть первый миг продлённого причастья,
когда душа прощается с тобой.

ФОТОГРАФИЯ

Я вынул фотографию, портрет
того, которого на свете нет.
Потом убрал. Тень лампы колыхнулась,
и мне почудилось, что в ящике стола
отображенье задохнулось.
Как странно скорбь меня подстерегла!

СТАРИК

Старик встаёт кряхтя.
Накинувши халат,
сластёна и дитя,
он ищет мармелад.

На ощупь, в темноте,
он ищет и дрожит,
но он не помнит, где
он, собственно, лежит.

И явь настолько сон
и чёрное трюмо,
что *кто* здесь этот «он»
ему неведомо.

СЛОВО

Наивным словом приглубленным,
с доверчивым однообразием,

последуем за миролюбием
вещей, за чистым их согласиём,

за их судьбою незапятнанной,
за музыкой касаний умною, —
они тоской по жизни спрятанной
за это заплатили, думаю,

как слово тихое, не вещее,
с послушной верою упрямою
плывущее на свет немеркнувший,
очерченный оконной рамою.

СЧАСТЬЕ

Я вынимаю монпансье.
Ты помнишь их на вкус: лимон,
малина, вишня, — эти все
гремушки? Да? Не удивлён!

А круглый домик жестяной?
Взял в руки, повернул, чуть сжав,
открыл... Ты всё ещё со мной?
О, рассыпь с пряностью приправ!

Весна. Флажками шапито
трепещет в парусной красе.
Демисезонное пальто.
В кармане банка монпансье.

СТРИЖКА

Там, за окном, как бы за сценою,
с небес слетает снег живой,
а здесь — охота за бесценною,
неповторимой головой.

В зеркальном озере, как лилия,
она плывёт, а дальше чуть
горит береговая линия —
асфальтовый кремнистый путь.

Плывёт, вдыхая, шурясь, нюхая,
покуда бритвенный прибор
жужжащею прицельной мухою
снимает стружку, вёртко-скор.

Забавен мир своими тельцами,
их прихотями что ни миг.
Паренье ножниц над пришельцами
и распыленья быстрый пшик.

ЗАВТРАК

Бывает день, не день — свечение,
воспеть ли мне душой отрадную
яйца в кастрюльке кипячение
зимой январской аккуратную,

воспеть ли малость невзначайную:
треск наледи от шага пешего,
постукиваньё ложкой чайною
по скорлупе яйца белейшего?

Стучи, стучи ему по темени,
ты вычтен из себя, и в разности
нет ни людей, ни даже времени...
Кого ты окликаешь в праздности?

НА ПОРОГЕ

Войдёшь — и темнота обступит.
Потом проявится окно
и свет вечерний приголубит.
Как бы колодезное дно.

Чем безымянней, тем дороже.
Где? не припомню... как сейчас,
я долгими стоял в прихожей
минутами не шевелясь,

в недавнем жизневоплощенье,
где опустевший дом притих...
Но нынешнее возвращенье
на проблеск явственной других,

на миллиграммовую гирьку,
призвякнувшую на весах,
к исчезновению впритирку
в странноприимных небесах.

ТОСТ

Стоит выпить ради мысли быстрой всякой,
ради происка её неуследимого, —

наливай, мой колокольчик, звякай, звякай!
За летящего, а в сущности — летимого!

Видишь — морось водянистым виноградом
над безлюдной и бесчеловечной площадью... —
Ты взгляни своим отсутствующим взглядом,
как согласно растворюсь в небесной росчуди.

Там, за облаком, где мне заказан столик,
я забуду, что не справился с заданием
жизни, — звякай, непутёвый колокольчик,
и приветствуй многодонным «до свиданием»!

СОН

вдруг рыба торкнулась в окно
висит и тычется
и как-то на сердце темно
почти что плачется
зачем пришла за чем за кем
глядит просительно
и мой испуг в ответ ей нем
так непростительно
то вверх то вбок юлит она
то вниз то вбок опять
всё по периметру окна
пришла молчком пытаться
молчит на то и рыбе рот
чтоб кругло узиться
и немотой дышать вперёд
ночь совесть узница

НОЧЬ
НА 3 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА

Льву Дановскому

С ожесточеньем, не каменный,
жил я в квартале от красной тюрьмы.
Дай-ка возьму этот ритм неприкаянный
на ночь взаймы.

«Робок ли сердцем ты? слаб ли ты силами?»
Как эту ночь переплыть?
Помню буксиры с их криками сиплыми.
Мост разводной не забыть.

Это Литейный, Литейный.
Выйдешь к реке — небосвод воспалён
где-то над Биржей, где длится ладейный
эндшпиль Ростральных колонн.

Можно сказать, что на стогнах
тишь и чернѐхонько в окнах.

Стихли застольные пьяные гомоны.
Город-укор в распрямлѐнной красе.
То ли уснули неправедным сном они,
то ли попрытались все.

Я, подневольным крещѐн понедельником,
помню предутренний свет.
Нас было трое, ты был нашим Дельвигом.
Первый, которого нет.

Этот мотив я затеял, не ведая,
что обращаюсь к тебе.
Осыпь апрельская, — время грохочет отпетое
льдом в водосточной трубе.

СУТЬ ДЕЛА

Точка засыпания прекрасна
как ничто на свете, так легка.
Только что не спал — и вдруг погасла
вся эта латерна магика.

Ровное прервав повествованье
и перечисление вещей,
нам представить наше расставанье
следует исчерпывающе.

Чтобы его встретить не проклятьем,
даже и не сожаленьем, но
благодарностью, простым приятьем.
Остальное не существенно.

РОЖДЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Славе Вольфсону

Шланг легонько так извивается,
из него вода изливается,
помидором гретым воздухом тяжёл,
к шлангу я подошёл.

Жарко жар идёт-поднимается,
полуспит дитя, скукой мается,
георгин на грядке ярко-мясист,
как матисс-аметист.

Подбираю шланг с замиранием,
двор дрожит стрекозиным реяньем,
поливаю двор, в солнечном свете,
в радужном забытье.

Распылённая вода катится
по траве и десятикратится
разбегаясь, ставнями дом закрыт,
дом прохладу хранит.

Лето длится, лето бессрочное,
золотой цикадой прострочено,
циферблат-подсолнух в огне стоит,
тяжесть-время таит.

В доме бархат побелки на ощупь,
а за круглым стеклом стрелок росчерк.
Отражением дня зажглось стекло, —
дрогнув, время пошло.

РАДИОСПЕКТАКЛЬ «ИВАНОВ»

Алле

Одна из коммуналок родины.
Темно. Соседи Приколотины.
Все вещи неуютной комнаты
тоскливым вечером приобняты.

Тебе лет десять. Завтра школа.
Тарелка радио у пола.

Околеванца нет... Околеванца?
Ты что-то загорделась... Загорделась?
Предгрозового фьють немного солнца, —
в буфете рюмка загорелась.

Ты сослан к тётке. Где родители?
Они в раздоре? Их похитили?

С тобою, Коля, жить такие муки...
Ань, глядя на тебя, мрут мухи...
Соседка, а соседка, дайте рубель.
Соседкина фамилия Рейхрудель.

Накрапывает. Подоконник. Скрежет
трамвая угол Кирочной отрежет.

Потом романс «Я вновь перед тобою...»
Светло-вишнёвые обои.

В квартире шумно, многожительно.
И некуда деваться положительно.

Я всё снесу. Куда снесёшь? Не смей.
В ломбард. Мне опротивел мой
дом. Я не выдержу своей
насмешки над самим собой.

Пора и честь знать. Что за чёртов дом.
И с улицы, как выстрел, гром.

ВИНА

Помню ещё иглы́
проблеск и мать, она
шьёт, в закоулке мглы
лампой освещена.

А на исходе дня
зимнего, под окном,
держит она меня
за руку перед сном.

Лет через сорок пять,
в том же углу, она
всё, что могла, — лежать,
парализована.

Руку её держал
маленькую, когда
в путь её провожал
отсюда туда.

С нею был, но не весь,
тёплой была рука,
в том виноват, что здесь
оставался пока.

Жизни тонкая нить
вдета в иголку-смерть.
Чтобы вину избыть,
следует умереть.

С ПОХОРОН

О, «когито» блеснувший коготок,
вцепившийся в моё существованье,
застрявший в нём! Что значит слово «Бог»,
как не Его дыханье?

Что может быть прекраснее, чем снег
и дерево в ветвящемся ознобе?
Жизнь жительствоует, мёртвый человек
не одинок во гробе.

Не новая ль звезда вонзилась в синь,
как бы с земли взметённая шутиха?
Не гаснет Твой небесный свет. Аминь.
Неотвратимо. Тихо.

ИСТОК

Надо удержать момент незнания,
мысль к себе не подпустить, —
так подвешен маятник, до созиданья
времени, и неподвижна нить.

Так бывает в солнечном соборе, —
входишь с площади, и там, в тиши,
есть секунда до страстей-историй,
вписанных любовно в витражи.

Но пока не шелохнутся нити
и ни жалости, ни скорби нет,
подбирают для тебя наитье,
чтобы из незнания ты шагнул на свет.

ДИТЯ ВОЗЛЕ ПЕКАРНИ

он стоит в окне смуглый бог
и раскатывает теста комок
скалкой быстрой до тоньшины
до песчаной белой его тишины
а потом он вертит в воздухе гибкий лист
цирковой артист
а потом он валяет его в муке
и висит раскатанный на большой руке
на руке большой мускулистой
вечер огненно-мглистый
вечер огненно-мглистый
я смотрю как он режет перец и помидор
как шинкует съедобный сор
натирает сыр смуглый бог красив
моцарелла мидии чернослив

как откроет он раскалённу печь
так во мне шевельнётся речь
я хочу увидеть как из печи
пицца выедет круглая и мелькнёт в ночи
полушарием карты мелькнёт почти
погоды погоди
не тяни не могу наглядеться я
там италия это греция
тянет мама за руку неумолчно
млечный огненноночный
млечный огненноночный
путь над площадью противень раскалён
по наклонной разгон
и всех запахов и цветов прилив
моцарелла мидии чернослив

У СТЕНЫ

За того, кто болен неизлечимо
и кому так страшно в ночи сейчас,
помолись, прохожий, идущий мимо,
возле стен больничных остановясь.
Всё, к чему ты себя приладил,
разрастаясь то ввысь, то вширь,
знал и тот, который утратил
смысла праздноцветущий мир.
Там борьба не на жизнь, а на смерть,
вникни, — может быть, в кирпичи
вшепчешь силу, с которой гаснуть
легче будет измученному в ночи.

РОДИТЕЛИ НА ЗАКАТЕ ДНЯ

Когда б они взглянули на меня
сейчас, я эту мысль не подпускаю,
но прорывается, гоня
себя к неведомому краю,
точней — к тому, где я на них смотрю
и ничего не вижу, но в усилье
непререкаемом к ним путь торю,
как если б там, между небесной синью
и синью моря, что совсем слились,
увидел нить, как если б ухватиться
хотел и заглянуть за край... Проснись.
Или усни совсем — и прояснится.
И слышу голоса, они идут
по набережной, с ними мальчик,

«в ничто на свете не влюблённый...
тёмно-зелёный...»
крон остывает изумруд,
ещё ни снов, ни мыслей мрачных,
и плещутся флажки на мачтах.

СТОП-КАДР

Документальный фильм. Расстрел.
Вчера смотрел.

Толкают в яму,
допустим, Зяму.

Земля сыра.
В голове дыра.

Теперь стоит раскидистое дерево.
Посёлок Зверев.

ШПАЛЕРНАЯ

Напиши стишок,
как холщовый мешок
шьют для писем
Ваням-Изям.

Как прошенья в нём
у помойки той
ночью жгут, не днём.
Там постой.

В том дворе самом
жил я много лет,
где в тридцать седьмом
жёны шли след в след.

Воздух дня пропах
весь бензином там.
Чёрный страх,
стыд и срам.

Стыд, и срам, и плач.
Ты на рифмы зов
выскользай, палач,
из ночных пазов.

Выскользай, кровав,
сучий пёс.
Кто убил, тот прав
в молотьбе колёс.

Вон горит мешок
под его смешок, —
слёзы жён, невест
искрами до звезд.

Корчи жалоб-просьб
(«...если б не донос,
кантоваться врозь б
не пришлось...»).

А гэбэшный хряк
под горящий вой
отогрелся так,
что опять живой.

КОВЧЕГ

Крюк меж дверей, где упокоен хлам, —
две щётки, вакса, ношенная обувь,
тряпье, — дай выброшу, не дам,
закроемся, жизнь обособив,

проброс цепочки и щеколды щёлк,
ковчег квартиры отплывает,
дай выброшу, не дам, я знаю толк
в руинах, голова пылает,

всего по паре: стариков, детей,
брюк, обуви, очков, перчаток...
есть что-нибудь от Ноя? нет вестей...
никто из них, в любви зачатых,

не выживет, никто, семья
проглочена ночной утробой...
вот только слёз не надо, видишь, я
их всех забыл... Забыл. И ты попробуй.

НОЧНЫЕ ВЕЩИ

1

На красном стуле, возле
дивана моего,
щёлкнул копытцем ослик
Кузмин легко.
Я проснулся его увидеть,
но простыл и след,

только тихонько тикать
продолжает брегет.
Чудное происшествие
жизни. Зачем же спесь?
Не надо божественного.
Всё уже здесь.

2

Выгляни — снегоуборочный
работает комбайн,
полночью обморочной,
ископаемый тайн.
Площадь великолепная,
как хлопушка, пуста,
снега толпа безбилетная
целует комбайн в уста.

3

Вот в счастливейшем он позднем детстве
входит в комнату, — и тут
ему отдают салют
книги, стройные зеленогвардейцы.

Он лежит, и затуманивается блаженно
шрифт страниц,
и мерцанью зарниц
отвечает окно и стихает отдохновенно.

И сейчас, случается, спать я ложусь
и вслух улыбаюсь,
как будто влюбляюсь.
Неужели когда-то я этого счастья лишусь?

зелёного лука с бородкой пучок
 лежит как китаец живой старичок
 а репчатый тоже китаец
 покатится жёлтый и станет катаец
 а красные перцы
 удобренных грядок округлые сердца
 а там багровеет гранат
 своей скрупулёзной зернистости рад
 а там голова помидора
 как жертва лежит термидора
 и как дирижабли лежат баклажаны
 и грузно арбузы одеты в пижамы

так ночью я умственным зреньем
 прильнул к заболоцким твореньям

Вероятность родиться собой —
 исключительный ноль,
 нежный ноль голубой.
 Но он выпростал ручку и, ею махнув,
 стал бемоль.

Воздух чист, головастик-бемоль
 шевельнулся в воде,
 жизнеюркая голь,
 и трёхкамерным сердцем забился на нотном
 листе.

Из книги
«ЧИТАЮЩИЙ РАСПИСАНИЕ»

ДЕНЬ НОЯБРЬСКИЙ

*День ноябрьский, ветреный. Мне пора.
Подойду прочесть под мостом расписание.
За стеклом таракан полумёртвый и номера
автобусов, прибывание и отбывание.*

*Ехать, ехать и ехать бы, не выходя,
ни о чём не думать, то есть не думать плохо
ни о чём, — не в этом ли смысл дождя,
солнца, дерева, облака, выдоха-вдоха?*

*Между двух городков ослепит река.
Я зажмурюсь, чтобы людей многоокость
не нашла меня, человек — он в тягость слегка,
а зажмуришься — сразу немного в лёгкость.*

*Ни за что, ни за что, ни за что бы не стал
разных страхов пугаться, если бы не мелькание
мыслей и перед глазами весь день не стоял
таракан, читающий расписание.*

1. ПО ДОСТОЧКЕ

*Не смерть страшна, а расставание
с отдельно взятым человеком,
я космосу шлю завывание,
его рассыпанным в ночи аптекам,*

пусть вышлет мне в ответ лекарство,
я буду принимать по горсточке,
чтоб в Божье перейти мне Царствие,
как лужу в детстве по досточке.

2. В ЯРКОСТИ

Мне жизнь припомнилась отчётливо,
я вдруг увидел кухню в яркости,
где мать с отцом неповоротливо
готовят скромный ужин старости:
пугливым круговым движением
обнесена конфорка спичкою...
В окне и в сердце отражением
той кухни с чиркнувшею птичкою —
я взволновался весь и в трепете
стал собирать слова, чтоб выдержать
напор тоски и в этом лепете
из пристальных видений выбежать.

3. БЫВАЕТ, СНЕГ ИДЁТ

Бывает, снег идёт — а с чем сравнить его
неукоснительное выпаденье?
По синеве идёт как по наитию,
не передать — небесное виденье!
Бывает, не могу с виденьем справиться —
и выпью, а жена взбранится — вспыхну...
Теперь молчит смиренная красавица.
О, невозбранно выпью — и затихну.

4. ЖЕНА

Непоздний вечер. Восемь пятнадцать.
Жена ушла спать и прикрыла дверь.
Она сумасшедшая. Восемь шестнадцать.
На площади за окном отдыхает сквер.

Я слушаю ветер. Восемь семнадцать.
В него вплетается щебет птиц.
Жена любит каждый день просыпаться
и плыть на работу, где скопище лиц.

Она на чулочной фабрике двумя руками
девять часов шьёт целый день,
им выдают зарплату иногда коврами,
мы отдалённо не знаем, куда их деть.

Она садится на пристани в белую лодку,
в пять десять отчаливает, пока я сплю.
Я поздно лёг, я жалел жену-идиотку.
Я сам не знаю, как эту жизнь дотерплю.

5. В ПАРЕ

С понедельника целиком забиваюсь я в тишину,
становясь опять перебежчиком от одних
выходных к другим: молчаливо жну,
что посеял, сею опять, заготавливаю жмых.

А жена забивается в свой за стеной отсек,
что-то мелет, просеивает, варит, ткёт.
И соседи — стекольщик, молотобоец и дровосек —
не покладая рук работают, эти два и тот.

Нас с женою держит мысль на плаву,
что пойдём в выходные кормить в пруду
черепашу, — она из панцирной книги своей главу
выдлиняет морщинисто, просит дать еду.

Мы с женой не очень-то меж собой говорим,
только держимся за руки иногда,
а свободными — бросаем еду, и так стоим,
и слегка краснеем, если кто видит нас, от стыда.

6. ЧАСЫ И ОЧКИ

Я вспомнил друга юных лет
и за два шага до входных
ворот заплакал: друга нет.
Потом, когда вошёл я в них,
такой случился разворот
в движеньях жизни: снял очки
и положил их на комод,
к часам (я слышал их скачки).
Потом немного отошёл
и оглянулся — как лежат? —
и заново к ним подошёл —
нехороши они на взгляд.
Нет соразмерности начал
у двух вещей: то далеки,
а то близки чрезмерно. Стал
часы я двигать и очки.
Потом волнение улеглось.
Пришла жена, глядит: часы
лежат согласно, хоть и врозь
с очками в капельках слезы.

7. ДИКТАНТ

Синь беспредельна.
Воздух бесплотен.
Утро прицельно.
Вечер вольготен.

Отдых отраден.
Тяжесть несметна.
День беспощаден.
Ночь милосердна.

Радость животна.
Грусть человечна.
Жизнь мимолётна.
Смерть бесконечна.

8. ЗАБЫТЬЁ

Над газоном вспыхивают светлячки,
выше, ниже, наобум,
как шахтёры, вылезли и на крючки
лампы вешают, забыв свой ум.
Вот вечерняя какая воркута
разворачивается в караганде,
я смотрю, смотрю в окно, смотрю туда —
где меня нигде.
Или то смертельно-тихий бой
душ давно в земле истлевших тел?
Обернёшься — и вдогонку за собой.
На подножку прыгнешь разума — успел.

9. В ПОЗДНИЙ ЧАС

за окном игольчатый шпиль
это ель горит на закате
вот приходит жена вытирает пыль
вытирает пыль гладит платье

иногда смотрю на неё
совершенно стоит чужая
вот сгребает она постирать бельё
жалость в сердце моём большая

но сказать что сблизило нас
не скажу в голове смешалось
а когда породнились сближались раз
даже больше за ночь сближались

помню мне казалось тогда
что мы тени друг друга
что в любви теряешь себя навсегда
видишь выбрались из недуга

и теперь мы странно стоим
на виду у пустой вселенной
а бывает сидим по углам своим
и молчим в тоске постепенной

10. ОБОРОНА

Раз в году или даже два
мы сидим в гостях или гости
к нам приходят, жена едва
их выносит, но терпит в злости.

Не двужильна. Душестоянье ей
тяжело даётся, я слышу,
как она арматурой всей
скрипит, держит крышу.
Если ж спор у меня зайдёт
с собеседником (я в подпитье
жарок и говорлив), а тот
обладает встречною прытью,
и меня пытается одолеть,
и меня в ответ распыляет,
тут жена всю грудную клетку
напрягает и громко лает.
Унижать меня ей одной
позволяется, а на прочих
лает остервенело, я ей родной,
из трущоб её чернорабочих.
Разбегается по четырём ветрам
люди застольный, двужильный,
и разносится лай по дворам,
настигающий, сильный.

11. ОРЁЛ

Прилетела птица, сидит под окном,
перья вздыблены, смотрит вяло.
В человеческий рост. Я сказал потом:
«Кто сидит там?» Она сказала:
«Кто сидит?» Я сказал: «Сидит у окна
птица. Дыбом серые перья». —
«С перепоя привиделось?» — сказала она.
Я сказал: «Глянь сама, моя пери».
К запотевшему ноябрьскому окну

она подошла, увидела и сказала:
«Это — птица орёл». Я взглянул на жену —
в ней глаза были — два вокзала,
проводящих неизвестно зачем, куда
и кого, проводящих два — и точка.
«Может, это решка, а не орёл?» Ни да
не услышал, ни нет. Ни одного гудочка.

12. В ВЫХОДНЫЕ

Вечерами решаю «мат в три хода»
(у меня есть сборник задач),
по утрам, в выходные, когда погода
смотрит в окна, слышу безмолвный плач —
она стирает с шахматных фигур пыль,
ставит на место их, справа и слева,
о, взаимообразный штиль
дня... Это «вилка», «вилка» нам, королева!
— Так вот проходит жизнь... — вздыхает. —
Обещал научить играть — не научил... —
Закононый ветер валы вздымает
и внезапно гаснет, лишившись сил.

13. КОГДА МЕТЕЛЬ

Когда метелью дом заносит,
тогда под собеседника
лишь ветер косит,
но как-то бедненько.

Закрывает свой магазин лабазник,
тоскует благоверная,
и вроде праздник,
а грусть безмерная.

Так окна залепляет пряжей,
такие тают таиньки,
что мы пораньше
ложимся баиньки.

Не надо больше зло и цепко
дышать и виться полозом,
а только крепко
спать, мёртвым образом.

14. ФЛЮИДЫ

Дома Лида моя ходит в шерстяных
тапочках по ковру, и у Лиды
накапливается электричество, тронет — вспых
между нами, искры летят. Флюиды.

Даже комната освещается. Может быть
(мой сосед-учёный говорит «может статься»),
подсознательно она хочет меня убить.
Но сознательно — приласкаться.

Иногда сильнейший проходит ток.
Я кричу ей: «Господи, больно, Лида!
Мы ведь жизнь отбиваем, а не тюремный срок,
мы ведь два человека, а не болида.

Что за странное, Лида, высекновенье огня!»
Но в её глазах не злой огонь — неизвестный.
Может статься, она полюбит меня
хочет для оправданья совместной.

15. БУДЕНЬ

Лида моя одевается и говорит: «Похолодало.
Ты слышишь?» Отвечаю: «Почти».
Говорит: «Я ватник твой залатала.
Похолодало». И потом добавляет: «Учти».

Вся жизнь наша прошла на первом
этаже, близко к холоду и земле.
Вряд ли она была перлом.
Я говорю: «Не забудь брильянтовое кольцо».

Она надевает крупно-зелёные бусы,
боты, шарф, шапку, пальто
и уходит на фабрику. Наши узы
всё прочней. По вечерам мы играем в лото.

Как уютно узор на коробке сверкает!
С детства я привязан к бочоночкам дорогим,
а теперь и к Лиде, как она выкликает
номера, один за другим, один за другим.

16. ОХОТА

Она влетела: «Мышь в столовой!»
Я выпил порцию свою
(о, серенький сюжет, не новый,
расхожий, бездны на краю!

Плутон, своей подземной сворой
зачем наш тихий рай мрачишь?)
и вышел: замерев над шторой,
сидела крошечная мышь.

Лишившись речи, то есть дара,
которым славен человек,
перед ней два перпендикуляра
остановили жизни бег.

Там, под землёй, где червь и овощ,
где кость, и уголь, и руда,
она не видела чудовищ,
подобных этим, никогда.

«Как я боюсь мышей!» — вскричало
одно из них, и тут же, чёлн
наняв, я оттолкнул с причала
подземницу, печали полн.

«Зачем мы все не разминулись? —
я думал. — Не было бы зла...» —
Шумел как мышь, деревья гнулись,
а ночка тёмная была.

17. С ЛИДОЙ

Много мелких дел. С пузырьками идёшь ко дну.
Как проходит жизнь, Лида! — в сердцах вздохну.
Что ни шкафчик, откроешь — валится требуха

на голову, избыток вещей, местная «вднх».
Помнишь колхозницу и рабочего? — её нога
и его открывали коммунистические бега.

Много мелких забегов. В бухгалтерию, в магазин.
Мы оказались хромы, Лида. Где деньги, Зин?
Высоцкий умер тридцать один год назад.
Помнишь рваный, магнитофонный его надсад?
Наши дети в слезах ходили тогда в детсад,
и, пока стояла ночь на дворе, спасал «керосин».

А теперь другая заправка, круговращенье цифр,
шланг уткнулся в бак, подбирает к «лексусу» шифр.
Не такой был лакмус у нас, другая была среда,
мы читали роман о Мастере и Маргарите тогда.
Он о страхе, о трусости, об умывании рук,
потому и любовь там — слащавый недуг.

Автор, думаю, замышлял иначе, да ведь и нам
соответствовать замыслу не удалось, мадам.
Много мелких дел, неотложных, скорых, и тот,
кто звонит «ноль один», набирает не телефон, а счёт,
как сказал бы Бродский. Он тоже тогда был чтим.
Что сказать мне о нём? Я восхищаюсь им.

Я скажу тебе, Лида, — ты только слезу утри,
неудобно всё же, — что он и ещё два-три
украшали пейзаж, пока не украсили навсегда.
Как-никак мы выстояли в грехе. А без них беда.
Я заначил шкалик, он там — да не плачь ты, ну! —
где стоят китайцы На Лей и Вы Пей, пойдём ко дну.

18. ПИСЬМА БРАТУ

1

Брат, мой подвиг (в кавычках) ратный
кончился до гудка,
раньше я выпивал изрядно,
а теперь — ни глотка.

Раньше мог я сыграть «Собачий
вальс», когда подопью,
и запеть, а теперь иначе —
онемел, не пою.

Брат, с тех пор как не стало сына,
мы с женой ни гу-гу.
Раньше я подходил к «пьянино»,
а теперь не могу.

Скверно то, что я в этом «раньше»
свет забыл погасить...
Нынче в доме у нас тишайше,
приезжай погостить.

2

Одиночество, брат, такое —
иногда гуляю по магазину,
пёстрый он, продуктовый,
иногда с тоскою
торможу, забывшись, — то рот разину,
то губа — подковой.

У меня отчаяние — внутри я
непрестанно плачу слезами,
а наружно стараюсь
быть как прибранная витрина.
Но рука на ветру уже не удержит знамя,
это — старость.

А недавно я к дому мчался,
точно пущенный из мортиры, —
не успел, правда, малость,
обмочился,
ах, как пигалица из соседней квартиры
в кулачок смеялась!

Я сдаю позиции, вероятно,
а кому — неизвестно, их-то
вряд ли кто атакует,
кончен ратный
подвиг, брат, затихает под вечер пихта,
пихта тоже тоскует.

Мне хотелось означить
пребывание здесь, но кротки
были силы и сникли рано,
скажут: значит,
отродясь никогда и не было в околотке
никакого Ивана.

19. ПОСЛЕ КЛАДБИЩА

Читаю, слышишь, по пути: «Вчерашняя
Раиса Львовна» и «Вчерашний
Григорий Маркович». Пустышная

ирония, а так — покой всегдашний.
Прошёл к родным могилам и приборал их.
Немного белых положил, немного алых.

Пластмассовые два стаканчика
достал, кусочек хлеба,
ты замечала, что на кладбище
всегда синее небо,
чем в городе? потом налил грамм по сто
себе и фотографии с погоста.

«Сын, — я сказал, — напрасно ты,
неправильно всё это, рано,
и потому теперь мы разняты,
незаживающая рана...»
Потом пешком от Невской
заставы шёл, а ветер нынче резкий.

Слова сказал без осуждения,
но, кажется, чуть с укоризной.
Смерть превращает день рождения
в трагедию, она зовётся жизнью.
Как ты считаешь, Лида? Спишь? Сегодня
мне костью в горле промышление Господне.

20. НОЧЬЮ

Я вглядываюсь в шум,
и вслушиваюсь в цвет,
и крон ветвистый ум
вдыхаю. Смерти нет.

Так вспенилась листва
в сегодняшней ночи

всей силой естества,
что смерти нет. Молчи.

Подъём. Подъём и спад.
Спад, и опять подъём.
Чтоб жили те, кто спят
необоримым сном.

21. ПРИЁМНЫЙ ДЕНЬ

Жена поднимается в пять,
ещё за окном темно.
У нас так рано вставать
издавна заведено.

Я поднимаюсь в шесть,
тоже не поздний час.
Выпал снег? Так и есть.
Я зажигаю газ.

Вижу: полуодетая у окна
полуспит, и я полусплю,
а потом она
гладит юбку свою.

Не разминёшься вдруг —
тесно. Хоть мы года
вместе, но стесняемся друг
друга-то иногда.

Раньше мы голых тел
не стыдились с ней, —
видно, ангел слетел,
который скромней.

Ангел не любит спешить.
Нам этот день с женой
надо усыновить,
чтобы он стал родной.

22. БЛОКАДНАЯ БАЛЛАДА

Жили мы на Шкапина, трое в комнате,
улица вела к вокзалу, вокзал — к стране,
улица промышленная в саже-копоти,
мать, мы с братом, отец на войне.

В память невеликую мою, углую
врезалось: воронка, мы с соседом моим
смотрим, как откачивают воду мутную,
воду мутную, вдвоём стоим.

После — голод, крошки хлеба не выклянчишь,
трупы сплошь: на тротуаре, на мостовой,
я боюсь покойников, но сердце выключишь —
и живёшь как мёртвый, но живой.

Штабелями складывали их в загоне
у вокзала нашего, помню, что когда
одного несли — в нём булькала, как в бидоне,
переливалась внутри вода.

Что ужаснее мора многолюдного?
От ранений лучше погибнуть пулевых,
но в сраженье, а не от голода лютого,
от нехватки плодов полевых.

Жили мы на Шкапина, двое в комнате,
мать пристроила брата к добрым людям, след **321**

затерялся надолго в военном грохоте,
а нашёлся через тридцать лет.

Животину выпятивши рахитную,
помню, как девчонка плачет, щёки дрожат,
что отец лежит, лежит да под ракитою,
а над ним что вóроны кружат.

Многого не помню, мал я был годами,
к третьему лету войны начал доходить,
тётка Люда съесть меня предлагала маме,
людоедка, что и говорить.

Плач недавно я читал Иеремии
и, когда на это наткнулся, весь притих:
руки мягкосердых женщин детей варили,
чтобы стали пищею для них.

Словом Господа всё земное сдобрено,
тех, мол, и наказываю, кого люблю.
Значит, нас любил Господь как-то особенно.
Да, особенно. Вот и терплю.

23. ПРОБЛЕСК

Просыпаясь, рассвета кайму
вижу, юркая птица сверкает.
Разве можно не верить Тому,
Кто воистину так окрыляет?

Лида, это превыше всего,
я незыблемо счастлив,

узкий луч на стене,
утренняя прохлада,

вот он, белый налив на весу,
тельце мраморное с ведёрком
у реки, вот под мышкой несусу
книгу «Кортик»,

вот проездом
переблеск в лесу паутинный,
перелесок болотно-тинный,
и лиловый, соседний

холодок, резкий воздух осенний —
вот хрустальный его кубометр,
вот он — с похолоданьем,
в освещенье комет,

вот он, необратимый,
в снег истаивающей лыжнёй
уходящий, родимый
путь, он к ночи слышней.

Сладок сон, только дай погасить
лампу, отдых блаженный,
хорошо было жить,
совершенно!

Собираясь в последнюю тьму,
говорю: «Принимай, я уложен».
Разве можно не верить Тому,
Кто воистину так безнадёжен?

24. ВЕЧЕР

Тише становится, тише, тише, —
ни пешехода, небо
гаснет, его угасанье — свыше,
словно бы ангел умер.

Солнце садится, и розовеют
только верхи деревьев.
Если же ангела прах развеют,
выпадет снег под утро.

ТЕХНИКА РАССТАВАНЬЯ

1

*Надо отладить технику расставанья,
тянущегося от живота до горла,
где глухонемая птица повествованья
машет крыльями голо.*

*И когда слетает внезапная птица эта
на кормушку сердца, минуя мозг твой, —
выставляй знак запрета,
отгоняя глухонемую в её край заморский.*

2

*Расставанье — окна любви и сетования.
Приглуши песню жалости об одиноком,
чтобы поезд дальнего следования
стал сплошной полосой без окон,*

чтобы просто существовал как данность,
не обнаруживая смысла, не жалея.
Стой на полосе отчуждения, отчуждаясь,
пока не скрылись из виду его детали.

Пусть выгорают цвета дорогой палитры
и замолкают всё бережней и безбрежней
шатуны, рычаги, фонари, цилиндры,
дымовые трубы и золотниковые стержни.

3

Когда собирается вроде тучи
тяжёлая мысль, угрожая
припадком падучей,
и гиблого ждёт урожая,
когда шевеление её близко,
и тени выходят из ниши,
и ласточки низко
хлопочут, ныряя под крыши,
я строю привычную оборону
из кавалерии лёгких
залётных (лишь трону —
взовьются), от горя далёких,
я быстро по дому иду со спичкой,
и вот уже свечи пылают,
и страх мой привычка
лечебной пылью опыляет.

ВИДЕНИЕ

О северное вдовое пространство...

Данте

I

1

Холоден пейзаж и нем,
коченеет поле, залитое
фиолетовым сияньем.
Эта часть земли — твоя,
твой улов подлёдных тем,
поле, лунным занятое
светом, монолитное,
с дальним следом санным.

2

Неба школьная доска,
яма антрацита угольная.
Опрокинута повозка
звёзд многоугольная.
Снег, ступающий с носка,
снег, витрина кукольная,
улица продольная,
между штор полоска.

3

Дальше, мимо гаражей, —
с одного из них я спрыгиваю
и тону в сугробе, — рыжий
пёсий след под ивою.
Ночь всё ярче и свежей,
гранями поскрипывая,
озаряет дивную
стынь под звёздной крышей.

4

Дальше, в подворотне лязг, —
помнишь, в том доме вытаивали
жизнь для материнской ласки,
колыбель поставили, —
отворяй, — здесь в твой Дамаск
путь, в твою Италию ли, —
ну, засов отваливай,
снаряжай салазки.

5

За верёвку потяни —
тронутся кустами медленными
с шерстяной подстилкой сани.
Там сарай с поленьями,
там колючие огни,
глыбы льда с расщелинами,
где гулять не велено,
там фигурка Ани.

6

Вот она передо мной,
дотянуться можно, — маленькая
девочка стоит на тёмной
горке за мельканьями
снега. Как тебе одной,
с сердца замираньями,
с далями бескрайними
здесь, в ночи огромной?

7

Перескок в весну, толпа
школьников, шкатулка лаковая
мая — воробьиный лепет,
небо многоликое.
Мотылька смахнёшь со лба, —
и движенье ласковое,
с моим взглядом слитное,
дарит страх и трепет.

8

Трепет марлевый, сачок,
Карповка, баржа притопленная,
по ветвям пробежка почек
до-ре-ми-фа-сольная,
человечек-родничок
родниковой крови полон,
ветра воля вольная,
божественный почерк.

Мир блистает на ветру,
точно это ветка ивовая
выстругана, вёрткая,
глянцевито-новая.
Ну, снимай с вещей кору,
чтобы свежесть ливневая
стала повседневною
речью без обёртки.

Нарождается листва,
поровну всем в этой начатости
роздано, ни превосходства
нет, ни нарочитости.
Ты была насквозь права,
не изведав значимости
собственной, ни чинности
взрослого уродства.

Баснословные края,
зелень сада Ботанического,
потная оранжерея.
В дрожи чувства чистого
прочь бежит душа моя,
из того панического
пальмово-лучистого
страха — прочь скорее!

Вот Аптекарского тишь.
Разве в детской этой бедственности
немоты меня заметишь?
Нет меня на местности.
Нет. Но чем верней молчишь
в той насквозь естественности,
в неосуществимости
слов, тем ярче светишь.

II

1

Только зрение и слух,
их деревья эти вынянчили,
а теперь, вернувшись в гулах,
жизнь переназначили.
Носится ли белый пух,
шубка греет заячья ли
в тех краях, где начали,
в стылых переулках.

2

Где ключи? Ищи-свищи.
Возведи слова обыденные
и явлений смысл не вещей
в жаркое радение

отыскать с В. Х. ключи,
чтобы «ясновидение
нервов» на мгновение
высветило вещи.

3

Вновь декабрь. С другой зайду
стороны, но в ту же стиснутую
льдами реку и раздую
в памяти лоскутную
ночь, ожившую во льду,
как шампанским вспрыснутую.
Дай шнурки распутаю,
погоды, разую...

4

Праздничный отец вдали,
в кухне, быстро приближающейся, —
сколько нам счастливой дали
жизни, там живущейся? —
магазинные кули,
щёлк картошки жарящейся
да снежок, чуть вьющийся
в заоконной зале.

5

В зеркале смеётся мать,
тонкие звенят серебряные
на руках браслеты, скатерть —

всплеском — самобранная.
Чтобы в фокус всё собрать —
рюмки равнобедренные,
в них вино багряное, —
надо жизнь потратить.

6

Пахнет хвоей. Это дни
ёлки, в мишуре запутавшейся.
Волхв на выпуклом картоне,
за звездой пустившийся
в даль. Бенгальские огни
в сне твоём закутавшемся
да снежок, сгустившийся
на оконном фоне.

7

Тишина. Горит ночник.
Булочная снится, бубличная.
По дворам бубнит утильщик,
борода всклокочена.
День измаявшийся сник.
Праздничное в будничное
утекает. Уличный,
точит нож точильщик.

8

Так точильные круги
времени искрят неистовые,
тёплые скудеют краски

дома, благоденствия,
так, разбившись на куски,
детское дионисийство
поручает действие
трагической маске.

9

Так в Истории следы
исчезают человеческие, —
рописью на вазе беды
с торжествами венчаны,
а младенчества сады —
те же древнегреческие
мифы, безупречные
в истинности бреды.

10

Плачущий стоит отец,
в коридорной нише высвеченный.
Как в воронку, инородец,
полусна заверченный.
Полусклад-полудворец
памяти чистосердечной, —
звёздной метой меченный,
потайной колодец.

11

Мать усталая сидит
у окна, незнаваемая,
смотрит, но меня не видит,

тем же сном изваяна.
Совість ли, вина саднит,
не сбылось ли чаемое, —
не раскроешь тайное,
ничего не выйде.

12

В этом сне, где снег гурьбой
за окном, в неиссякаемости
ночи, в зыбкости озноба,
в этой странной ёмкости
сна всё зиждется собой,
в полудосагаемости,
но и в гнутой ясности,
в кривизне особой.

III

1

Белый холод. Снег слепящ.
Полночь на безлюдной набережной.
За рекою остров спящий.
Тишина нездешняя.
Как орган, блестит, звенящ,
воздух. В небе набожная
спутница утешная.
Ветер леденящий.

2

Мимо лодочной пустой
станции, ангара мертвенного, —
согреваясь речью устной
в городе неверного
света, чёрной мостовой,
сада многоветвенного,
сердцу соразмерного, —
по тропинке узкой.

3

Каменноостровский луч.
Это крепость Петропавловская.
Над землёю ходят тучи.
Над землёю плоскою
вздыблен чёрный конь, могуч.
Та рука неласковая,
жёстким жестом броская, —
к смерти неминучей.

4

Здесь мерцал когда-то день,
меркнул день декабрьский, сумеречный,
снег лежал комками, рдея,
дымной кровью смоченный.
По Галерной чья-то тень...
Вдруг весна — и «Рюмочная»,
май очеловеченный,
шалая затея.

5

Залетейский брат мой, пир,
дым столбом, и муза взвизгивает,
мимолётная квартира,
где посуда звякает.
Музы пламенный кумир
новый стих изыскивает,
что-то в рифму вякает,
под рукою лира.

6

Под рукою пунш и ром,
мы и званые и избранные.
Не мудри, оставим мудрым
истины их пряные.
Песнопеньем славен дом.
Ничего, что выпренье,
ничего, что пьяные,
протрезвеем утром.

7

Тихий голос: «Научу.
Видишь, люди живы завистями,
предаваясь злomu плачу?
Нет, не их ты навести,
ангел мой, — зажги свечу
там, где нет ни вычурности,
ни презренной юркости
мысли: „Что-то значу“».

Кто всё это говорил?
 Запиши, а то ведь, выпившие,
 не запомним... Миг — и в хоре
 дети, нас забывшие...
 Чижик-пыжик, кривокрыл,
 где почил ты, пыжившийся?..
 С лёту вздор убившее,
 вгрызается горе.

Брат дошёл до края мест
 обжитых, где человеческое
 обрывалось. Ясность жеста,
 взгляда: вот отечество.
 Дальше сам несу свой крест.
 Прочь, слеза изменческая.
 Ни сомненья — начисто, —
 ни живого места.

Точка. Брошено жильё.
 Над жильём страна заоблачная,
 дельтой спят в запястье жилы.
 Море обесточено.
 Тела мёртвого враньё
 в узкое и лодочное
 втиснуто, — и кончено.
 Мерзлота могилы.

Пустота меня язвит.
Не вчера душа изнеженная,
брата потеряв из виду,
стала безутешная.
Я ль не исходил, убит,
зёмли, тьмой завешенные,
мною ль не затвержено:
где ты, друг Энкиду?

Иссякает жизнь, и страсть —
словно в ватных лапах обморока;
то, что в радости ль, в несчастье
жило, — стало облаком.
Невесома снега взвесь,
ни шажка, ни шороха там,
вижу всё, что дорого,
только нет меня здесь.

**Из книги
«АРКАДИЯ»**

ЖИРАФ

Бесшумно, в тапочках ли бархатных,
из сонных грёз воспряв,
он выкроен из клеток шахматных,
рогатый граф.

Он долго пьёт, в поклоне свесившись
над лужицей простой,
а после, ломко в небо ввысившись,
стоит. О, стой,

как изваяние балетное,
под синевой творись!
Идея шеи абсолютная
простёрлась ввысь.

Нога танцовщика, стоящего
на четырёх руках
и тапочкой листву жующего, —
ты есть жираф.

ВДВОЁМ

падает яблоко
следом поодаль
яблоко падает
ночь непогода ль
светится зелено
медленно гаснет
зелено светится
ночь ли ненастит
обняты спрятаны
спят они спят они
спрятаны обняты
первые опыты
там холоднее чем
в доме ничейном
чем холоднее там
тем горячей нам

БЕГЕМОТ

Горою вплюхнутость сама
в родную жижу,
я весь — не твоего ума,
и Бога вижу
хребтом, клыками, животом,
розово-смурой,
сине-зелёной и притом
стальной шкурой.

Полдненным высвечен лучом
в Господнем доме,

я верх путей Его, о чём
не знаю в дрёме,
разлапый корифей рытья
в грязи разливов,
гигант библейского литья,
ревущий: «Иов!»

НА КУРОРТЕ

Сначала полунастоящий
и путающийся в плюще,
потом лепечуще летящий,
лепечуще, щебечуще...

Пока Швея, склонясь к лиману,
выводит солнечную вязь,
он принимает жизнь как ванну,
в шезлонге полуразвалясь.

Он смачно яблоко вкушает
и Еву потчует свою,
и змей парит, не искушает,
запущенный в его раю.

С брелком на загорелой шее
сидит, покорное Швее,
бездельничающее щее,
блаженствующее щее.

АНАКРЕОНТ

Не крикливым выскочкой —
явлен мне поэт

с виноградной кисточкой,
источая свет.

Машет ему лапочкой
над жилищем дым,
и ныряет ласточкой
ласточка над ним.

Воздух человеческий,
что ни шаг, то вдох,
лирик древнегреческий,
босоногий бог.

Виноградной косточкой
ты не поперхнись —
прогуляйся с тросточкой
и домой вернись.

ЧЕРЕПАХА

По-юношески, вплавь, изящно —
змея под панцирем-щитом,
вся — выпад зрения разящий,
с прорезанным улыбкой ртом, —

из глуби вод, по восходящей,
из водорослей, проблистав,
выносишься — и зной палящий
объемлет жарко твой состав.

Смотрю, уже единокровен
медлительности, и сполна,
с лихвой мой взгляд к тебе прикован,
когда на троне валуна

меж двух скорлуп ты вроде сердца
ореха грецкого, с лицом
усталым царственного старца,
отягощённого венцом.

С ФРАНЦИСКОМ

Пока передо мною слава
земли: огни костров пастушьих,
или вулканов не погасших
базальтовая лава,

или ресничное свечение —
ребяческие лица в хоре —
росы, и братство плоскогорий,
и рек-сестёр реченье, —

пока стрекочет сердце строчки, —
флотилия гусей летящих,
мальков ли филигрань в слепящих
лучах, — я с этой точки,

пока не досмотрю, не сдвинусь, —
парад деревьев в воронёных,
и небо звёзд неосквернённых,
и всех цветов невинность.

ЖОНГЛЁР
ПЕРЕД МАРИЕЙ С МЛАДЕНЦЕМ

Подбросить апельсин
в небесну синь,
за ним седьмой, а следом третий,
мозг жизни дольчатый,
кометы рыжих междометий,
ты их невольник, ты невольчатый
любви, — подбросить и ловить,
и ломтик ласки улучшить.

Подбросить апельсин
в небесну синь,
за ним шестой, а следом пятый,
явь непочатая,
младенец вмиг розовопятый
разулыбался, в небо падая
из материнских лёгких рук,
святого безрассудства друг.

ЛЮБОВЬ

Пока эти двое идут,
не помня зачем и куда,
взят первый редут
и дрогнули невода.

Пока воздух светел и пуст,
поодаль, не видящий их
в истерике куст
забился и стих.

Кто жизнь так усердно творит?
Стемнеет снаружи — смотри,
как свет озарит
раковину изнутри.

И будет стоять бастион,
под стрелами молний, в дожде, —
святой Себастьян! —
неведомо где.

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

Всё, что есть на «л»: луч, любовь ли,
лилия ли, лань лесная, —
всё подобно сладостной ловле.
О, лови меня, оттесняя
к той ложбине... А эта стая
вздохов ли, облаков ли
надо мной! Надо мною будь, нарастая,
жарче крови и крепче кровли.

Обними меня! Кедр ливанский
несоизмерим с тобою —
так силён ты. Твоею лаской
не насытиться. Пусть тропую
зверь крадётся, готовясь к бою,
перед самой оглаской, —
твой язык... А теперь огласи трубою
плотский пир с беспощадной пляской.

ТВОРЧЕСТВО

Решимость, равная нелепости —
исчезнуть, чтоб явиться миром:
луна, вращает пальма лопасти
под ветром, точно это мельница,
поэт бежит Гвадалквивиром,
пёс метит местность, лучник метится,
летят стрижи, дымятся пропасти, —
виждь, это даром.

Леса, как воины и крепости,
стоят под громовым ударом,
стать львом в оскаленной свирепости,
мечтой, что мается и мечется,
счастливым сном, ночным кошмаром,
в конце концов вочеловечиться, —
зачем? Теперь шагни без робости
и стань простором.

БЕССМЕРТИЕ

Вот он выныривает из-
за поворота,
как бы на бис
из-за кулис, —
на лбу накрапом бисер пота, —
он смотрит ввысь —
ликуй: есть пятница, суббота
и воскресенье. Горе, брысь!

Бегут по небу облака
в начале мая,
свежа река,
и жизнь легка,
и это папа мой, — взлетая,
горит строка! —
навстречу — мама молодая.
Они бессмертные пока.

НАЧАЛО

есть бронза брызг
в лазурь ларца
слизь заперта
глазастый щуп
приплюснут писк
субстрат творца
есть тёрка рта
радулозуб
кальцит и плеск
мол мел лузги
есть узкий свет
который узк
есть мель и блеск
зажат в тиски
двух стен и след
и слизь моллюск

ДАВИД СЛАВИТ

Эта твердь,
небо ночей и дней, —

проповедь,
проповедь славы Твоей.

Этот день
речью впадает в день,
а ночная сень —
тишиною — в ночную сень.

Солнцу знак
подал — и в небесах Твоих
оно засияло, как
в брачных чертогах жених.

Свет лучист.
Звёздам нет числа.
Страх Твой чист.
Заповедь Твоя светла.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ

— Ты кто? — Я мысль. — Куда ты? —
Я к тебе. —

Вот уж не звал. — А я из проходящих
без спроса: при еде или ходьбе.
Или во сне. Подобно гольтьбе,
непрощеная, — я не для хотящих.

— О чём ты? Почерк твой не разберу... —
Я ни о чём. Я есть возникновенье.
Так шёлковый внезапно на ветру

плеснёт флажок на утреннем смотре.
Запомни. — Что? — Прекрасное забвенье.

— А незабвенное забыть? — Забудь. —
Откуда ты? — Я не рождалась. — Если
ты не рождалась, не к чему прильнуть. —
Ты видишь книгу? В ней сокрыта суть.
Читай вот здесь. — Постой,
придвину кресло...

Ты где? — Исчезла.

НА ПОВОДКЕ

Остальное время
гулять с собакой,
глядя, как, ослепительно рея,
летят облака.

Поводок — только повод,
чтоб увидеть в строке,
кто на чьём поводке.
Остановлен ли, крутится ворот?

Так не видит различий
между небом и небом взгляд птичий,
день за днём
пролетающий тем же путём.

На осколок блюда
засмотреться в ручье
и забыть, как вернуться
и зачем.

СЛОН

Почтальон пыли.
В почтовых сумках
ушей — поле
сражения. В сутках

топота — опыт
слонянья. Трубный
воздет хобот.
Столетия крупный

валун. Ганнибал.
Гималаи. Сон.
Сна сеновал.
Если же вознесён

рассвет и льётся
на слоистый склон
с небес слонце,
просыпается слон.

ДАВИД БЛАГОДАРИТ

Блажен, кому отпущены грехи,
кто Господу что новые мехи.

Дух взаперти пытал меня как гость
из преисподней, сохли кровь и кость.

Так тяжела была рука Твоя,
что я открылся, грех свой не тая,

до глубины, и Ты, склонив Твой слух
ко мне, освободил скорбящий дух

для радости. Пусть праведник творит
молитву и Тебя благодарит.

«Я вразумлю тебя — в Моих руках
твой путь, не попирай себя как прах.

Не будь как необузданный лошак,
чтобы уздой Я сдерживал твой шаг».

Путь нечестивого — греховный тлен.
Ты ж, праведник, пой Господа, блажен.

АПРЕЛЬ

Исчезновенья чистый отдых.
Пока глядишь куда-нибудь,
трамвай, аквариум в Господних
руках, подрагивает чуть.

Есть уголки преодолений,
где можно преклонить главу,
и солнца крапчато-олений
узор, упавший на траву,

и есть под шапкой-невидимкой
куста прозрачная весна,
внезапно розовою дымкой
осуществившаяся вся.

Апрельский замысел так тонок,
что крошечных двух черепах
смеющихся везёт ребёнок
с аквариумом на руках.

Из книги
«В ЧУТЬ ВИДИМОМ ПРОЧЕСТЬ»

ЭЛЕГИЯ. СЕМЕЙНАЯ САГА

В чуть видимом прочесть, а часто —
в невидимом. Хрустальный зверь повис
над скатертью — разбитый вдрызг, лучистый,
осколками сверкает сверху вниз.
На скатерти закуски в узких лодках.
Графин. Стрекошет речи ручеёк
семейный. Семенящий, в позолотах
ночных огней, дождь за окном. Очаг.

Седой хозяин у рояля. Счастье
романса. Хризантемы. Баритон.
В чуть видимом прочесть, а часто —
в невидимом. Таинственный тритон
продольной памяти, продольно-поперечной,
притон подсвеченный. Хозяйка. Нежный сын.
Его невеста. Скоро жизни брачной
рассвет, а с ним закат. Лучи глубин.

Учи любви уроки, гость случайный,
ещё ты мальчик в дебрях тех квартир,
где запах старости и кухни выжелт чадный,
а дверью ошибёшься — там сатир

танцует с нимфой, и всё подробней,
всё стереоскопичней и родней...
О, хриплый патефон! Захлопни
дверь и оставь козлиный миф за ней.

Взгляни туда, где летних дней отрада.
Цветёт тяжёлой поступью сирень,
и просится в стихи веранда,
и пастушок фарфоровый, свирель
целующий, стоит на этажерке.
Родится новый мальчик между тем,
а прежний станет юношей, и тень
падёт на прошлое по скорбно снятой мерке.

Чуть что — хозяйке скорую. Укол.
Сбегались тётушки, добрейшие золовки.
Хозяин первым всё-таки ушёл.
Поминки. Хризантемы. В позолотах
ночных огней... Хозяину вослед
ушла супруга. Торною, конечно,
тропинкой ковылять — не столь кромешный
кошмар, ведь там супруг. Закат. Рассвет.

Закат. Лет через сорок «новый мальчик»
погибнет, а отец (тот «нежный сын»),
болельщик, будет сутками один
смотреть бесстрастно, как гоняют мячик.
Когда-нибудь ударят по мячу
последний раз, и к сыну, не перечая,
сойдя, он молвит: я заждался встречи.
И скажет сын: пойдём, я посвечу.

ЭЛЕГИЯ
С НЕДОСТАЮЩЕЙ ЗАПЯТОЙ

На отшибе дом викторианский,
ракушки морской белей.
Пруд невдалеке, подёрнут ряской,
с цаплей одноразовой. Сарай.
Ранних подмороженных полей
даль сердечной болью поверяй.

Дочь моя четырнадцатилетней
девочкой стоит в дверях,
угловатой, трогательной, бледной,
несравненной. Дует из прорех.
И бесшумно гроыхает страх
будущего, как пустой орех.

Есть ещё соседка, та, которой
нет на свете. В январе
вдоль Гудзона пронесётся скорый.
Длись, заря, ты сокращённо — зря.
Пусть твоей потворствует игре
снег. Ему всегда до фонаря.

Дочь. В руках стеклянная вещица —
шарик. Беглый разговор.
То и дело взгляд её лучится.
То и дело взгляд соседки внутрь
отступает, точит её хворь.
Холод просыпающихся утр.

С духом собираясь, кофеварка
цедит кофе в тишине.

Радостно, печально, горько, ярко,
непреложно. Изначальны дни.
Вдаль и вширь, в крови или вовне.
Всё запомнил? Боже сохрани.

ЭЛЕГИЯ ПАМЯТИ

(Перечитывая Л. Чуковскую)

Жил на Чайковского я, потом на Шпалерной.
Что ни адрес, Софья Петровна, то скверный.
Разве что нам повезло —
те же парадные и подворотни, но зло
сникло — казалось, того и гляди растает,
даже пригрезилось: рассветает.
Так ли уж рассвело?

Тот же февраль и та же калошная слякоть,
но, кроме ветра, никто нас не смел облапать
и обыскать. Те же окна во льду...
Разве что нету
больше трамваев — огни их цветные на лбу
вылетели из памяти как в трубу.
Я узнавал номера их по цвету.

Эти «месткомы» ещё или «парторги»
шастали по словарю, точно крысы в морге,
но «треугольник»
стал геометрией вновь, покинув палату
умалишённых, но выдавали зарплату
в амбразуру окошка — в такую когда-то
ты свой голос протягивала. Где твой невольник?

Ящик ещё почтовый — письмо тебе снилось? —
«Правда» торчит... Убиенные (всё прояснилось!)
писем не пишут... Отстроились города.
Где та старуха, молящаяся, как на икону,
на ящик, взывающая к закону?
О древнегреческий хаос, эпитетом наделённый...
Организованный, да.

Организация! Всё, что бесчеловечно,
сплавляется крыснознамённо, увечно.

Нет и не будет письма.

Пушкин ошибся: и посох в руках, и сума, —
и пока ты по городу — быть ему пусто! —

бродила,

Софья Петровна, автор тебя пощадила
тем, что свела с ума.

Так ли уж рассвело? Горбуны и плюгавцы
в тех же палатах, и — черви их белые пальцы,
лица их — мясо.

Так не забудем же, проходя мимо Спасо-
Преображенского, крестного её часа,
набережную — не дай повторения Бог той
ночи! — с восходом над Охтой.

НА ГОРИЗОНТЕ

Пока зонтики шли, чёрные зонтики,
и осень всхлипывала, всхлипывала,
вдруг увидел маму на горизонте
памяти, и меня ослепило.

Ясно увидел комнату, свет белый —
третий год, как она лежала, —
пока зонтики шли и листва летела
в будущем, и впивалось в меня жало.
Как она не могла сладить, сладить
со своей рукой или речью.
Если славить, только святого славить,
не проклинающего удел человечесий.
Она всматривалась в окно, чтобы
это будущее моё увидеть
без себя, в дождь подробный
вжить печали глаз своих, в его нити,
чтобы они вернулись, вернулись, —
пока зонтики идут, чёрные зонтики,
и осень всхлипывает всхлипом улиц, —
и ослепили меня на горизонте.

ЭЛЕГИЯ СБОРОВ

Я собираюсь. Паспорт, ключ, билет,
зубная щётка, мыло, полотенце.
Двойной (с учётом зеркала) балет,
томительный, и, вроде заусенца,
тревожащее чувство: нет пути.
Треклятый дятел, тюкающий в темя.
Не то чтобы я вещь не мог найти —
не помню, *что* искать. Не выйти. Время!

С порога вспять — и вновь нутро
квартиры, и кружение в гостиной,

в столовой, в спальне, в кухне. Нет. Зеро.
О, летний полдень, долгий и пустынный.
Сандалии. Хламида. Шлем. Копьё.
Дремучий дом. Где талисман удачи?
В коробке в том углу, зарыт в тряпьё.
Обол в кармане. Если что — без сдачи.

Я собираюсь. Скрупулёзный труд.
Но что-то мелкое забыто.
Не главное. Как, вещь, тебя зовут?
Ты не разбитое ль корыто?
Объёмы воздуха по комнатам стоят.
Прозрачный мрамор. Солнечные нити.
Где Ариаднина? Все вещи мёртвым спят
сном по коробкам. Время! Но не выйди.

Пленённый скарб, и ты его конвой.
Но как судьбу переупрямить?
На стену тень легла. Моя. Кого
позвать, чтобы обвёл, запечатлев на память?
О, выйди, выйди. На тебе лица
нет. Выброситься из порочной яви!
Складной алтарь, микенский меч, овца,
таблички, жемчуг в золотой оправе.

Трофеи: два оливковых венка.
Три вазы. Лира. Да? Не много ль чести?
Вострепещите, ветхие века!
Я на пороге. Марафон на месте.
Пространство замкнуто. Спасительная брешь,
найдишь! Что длит мою истому?
О, держит, может быть, не вещь —
страх и увечная прибитость к дому.

Тебя писал слепой. Но не Гомер, а крот.
Ты не был на пиру. Ты видел пьянку.
Ты одиссея, но наоборот.
Путь, вывернутый наизнанку.
Закат сгорел. Вот пригоршня золы —
посыпь главу. Уйми свои рулады.
Поход отложен. Развяжи узлы.
Открой окно. Вдохни ночной прохлады.

ЭЛЕГИЯ ОБУСТРОЙСТВА

Витрин потусторонний свет.
Крик из оравы детворы: «Ты водишь!»
Зайдём? А почему бы нет?
Гляди перед собой. Что взор отводишь?

Комиссионки полугрязь
и запах старости дырявой.
К подержанным вещам, стыдясь,
примериваться, боже правый.

Вот этажерка. Поздний час.
Чем я могу тебя утешить?
Нам нужен минимум: матрас
и что-то вроде вешалки. Чтоб вешать.

Спой что-нибудь. Та-га.
Как не грустить, весь день угробив?
Весь день — ещё не жизнь. А что тогда?
Посмотрим обувь.

Там сколько блюдец? Ровно три.
Побитые. Зато бесплатно.
К чертям. Не хочешь — не бери.
Что значит «блюдце», будь оно неладно?

Растерзанные горы тряпок.
А обуви? Надену — не моргну —
с чужой ноги ботинок или тапок.
Но из чужой посуды не могу.

Потусторонний сей Эдем
ещё когда-нибудь вернётся.
Дай обустроиться, я покажу им всем.
Кому? Тому, кто подвернётся.

Когда нас будут гнать взащей,
мы не допустим пошлого повтора,
мы не сдадимся — не сдадим вещей
в анналы нищего позора.

Их дело — честная зола.
На свалке — среди ночного пересверка
холодных звёзд — мы их сожжём дотла.
Будь проклята ты, этажерка.

ЭЛЕГИЯ. ОТЕЦ

Жалок стал и слезлив.
Надвигался локомотив
смерти, а он стоял на путях
вроде застрявшего тяжеловоза, впотьмах.

Я был рядом, но далеко, на молчаливый плач
обречён в грядущем. Оно палач.

Между Сновском, где протекает Снов,
и вечерний разброд по домам коров,
и доение во дворах,
и молочный пар над ведром, и рыжий пацан
в дверях, —

и Ленинградом с его рекой
(самой точной его строкой),
с очередью в пивной ларёк,
с офицером, берущим под козырёк,
с шинельным отрезом дармового сукна,
из которого что-то пошьёт дочерям жена, —

он стоял на путях
вроде тяжеловоза, впотьмах.

Я был рядом, но далеко. Я ещё не знал,
что не всякий зал ожидания — праздник.
Что есть обвал
и давальня не для сока или мезги,
но — прессующая мозги.

Там соседствует шелуха
семечек и куриные потроха
с лукоморьем услышанного впервые стиха,
чьё-то кокетливое «тебе не к лицу»
с Левитаном из репродуктора
на кронштадтском плацу...

Как пчела с цветка, предъяви пыльцу.

Я был рядом, но я шагнул
к сотам жизни, когда приближался гул.
Я не слышал тогда уккоризн
грядущего, и какие там плачи и палачи...

Выбирающий жизнь
выбирает смерть ближнего. Помолчи.

ПЕРЕД СНОМ

Сядь рядом, руку твою подержу.
Холодно, я тебе доложу,
в этом году.
Впрочем, не привыкать ко льду.

Настольный свет пусть ещё погорит.
Темнота мало что говорит.
Как, не пойму,
мы оказались не нужны никому?

Разве могли предположить,
что и нам дожить
до этого суждено?
Что-то невероятное. Но ведь вот оно.

ОДНА ЖИЗНЬ

А пока подожим
или подорожим
солнца сиянием,
синих стрекоз стоянием

в воздухе дня на весу,
плеском, капающим веслом.

Там сосуды озёр
сообщаются, пар
над вечерней землёй,
над извилистою змеёй,
над лягушкой с подскоком
пауз по низким осокам.

Атом к атому точь-
в-точь подогнан, и ночь
к дню прибита гвоздём —
испаряющейся звездой,
в подорожнике утром
разгоревшейся остриём.

Истины босиком
друг за другом гуськом
по росе тянутся,
ни на миг не расстанутся,
лучась, не иссякая.
Утренняя Навсикая.

Там, на топких мостках,
прачка, бельё в тазах,
в мире ни росстани,
стирка, белые простыни,
согревающим счастьем
приникают доски к ступням.

Высекая искру,
как из жизни игру,

лучепёрая вверх
извернётся и высверком
плавника глаз уколет,
но и радостью утолит.

По стезе золотой
поступь чайки литой —
жадный взгляд и живой,
и накат волны кружевной,
и прислужниц мячика
вижу, вдали маячащих.

А секунду спустя
дачный вижу пустырь —
там, предавшись судьбе,
залётный атлет в разбеге
блещет великолепьем,
потрясая, воин, копьём.

За копьём своим вслед
чужеземный атлет
улетит, кончится
август, поздний истончится
час, как жизнь, истекая.
Плачущая Навсикая.

Синих узких стрекоз
с лицами стариков
острое зрение,
время как измерение,
замершее на нуле,
насекомое на игле.

ЭЛЕГИЯ. СО СТОРОНЫ

Как затеяно это, затеплено, из каких
красок соткалось в единое — золотых?
грозных? землистых? ненасытимо-живых?
Видеть непререкаемость их.

Видеть, как женщины на раздутых вовсю
парусах
плывут в роддома, как лежат на весах
младенцы, как начинаются титры —
то крылата кисть чертит в небесных полях
палитры, —

как начинаются кадры —
то влетает ветер в квадратны
метры комнаты, и новые паруса
раздуваются, и на подвиг ратный
(потому что путь этот — безвозвратный)
снаряжаются подрастающие леса.

То ночные кроны
пошевеливаются, ночные корни
пробивают землю,
и сочная разрастается зелень.

То выходят игролюбивые
к пышноланитным и дугобровым,
чтоб сочетаться блаженно лаской и ложем,
и львиные
рыки и визги нимф разносятся по дубровам.

Как потом затихает путаница-стихия,
и седой сатир, из-за мольберта глаза,

малюет два кокона, две сухие
оболочки, — прощай, Психея!

Он себя почитает царём в центре мира,
зная: там ни царя, ни сатира.

Есть огромный дышащий океан.
Не беснуйся, разума узник.
Как пустой орган
насыщает музыка,
так Его рука
водит кистью прицельной твоей и узкой,
отправляя в плаванье облака.

Если ж всё на свете бельё,
если время выжато и висит, как бельё,
если плесень расписывается на стене
и идут санитары, чтоб вынести в простыне
что-то страшное, отработавшее своё,
то зачем затеяно бытиё?

ЭЛЕГИЯ. ЗЕРКАЛО СЦЕНЫ

Предложили роль. Я согласился.
Дни и ночи той поры бесценны.
Я в их труппе был кассиром, но косился
в сторону юпитеров и сцены,
на которой и заколосился.

Нет, не мигом. В роль вживаются не с ходу.
Но когда в твою звезду

Мастер верит, ты растёшь ему в угоду,
всей душой шепча: «Расту, расту».

Как любил я запах костюмерной,
бархат занавеса, доски декораций,
бутафорию — весь этот мёртвый
мир, способный воскресать и разгораться,
подчинясь актёрской вере вёрткой.

Вёрткость веры! Штукарям игры,
братству странников единокровен,
я любил вечерние пиры —
захолустные заезжие дворы —
все вокруг Мастера, с ним заодно и вровень.

Да! Но кто меня проникновенней
слышал то, чему учил он днём и ночью?

«До костей прознай себя, до тех мгновений,
что неуловимы, точно тени,
до любви врождённой, непорочной —
в существе твоём нет места многоточью! —
и отдай всё образу, и в нём исчезни».

Да? Но как из образа я выйду,
если полностью исчезну в новой жизни?
Он учил, чему не учат: чуду.
Я отрёкся.
Но не подал виду.

Слишком роль свою ценю я
и особенно, когда целую
главного героя, и за мной толпятся
воины-легионеры с копьями, и злую
я вершу судьбу свою чужую
в ночь на пятницу.

НОЧНОЙ СМОТРИТЕЛЬ

Всё пошептом да пошептом, читай,
что дальше там, какой ещё подьячий,
где дочь твоя, смотритель, то-то, чай
несёт, глаза в смущенье пряча,
я по казённой надобности здесь,
да, но с предчувствием печальным,
и сердце закипает, занавесь
окно, читай, о чём-нибудь, о дальном,
нет ближе ничего, здорова ль дочь,
бог знает, говоришь, сними с горящих
свечей нагар, читай, что дальше, ночь,
и плач, и причитанья всех скорбящих,
и набережная, и тот трактир,
явленье ротмистра в халате,
лакей военный, да, и вечный мир,
который обретёшь на Минском тракте,
здорова ль дочь, да где ты, за прогон
кому платить, кругом одни огарки,
и осень за углом, а с ней сам сон,
и вырин на дворе, вороний, каркий.

Помнишь, мы родились
в свет, в яркость,
в голоса
окликающих нас матерей
в январском дворе?

В каждый новый миг
мы не умели видеть
смерть предыдущей —
ничто ещё не умирало в ту пору,
даже секунда.

Помнишь, все были живы?
Ещё не измерено было горе
в единицах слёз
и никто не стоял,
прикрывая ладонью рот,
в тишине утраты.

Только пространство и отпечатки
люстры или дёревца
на сетчатке. Время
не наступило ещё на пятку
Ахиллеса, и эпос
пастбищем был, а не бойней.

Не было этого «помнишь»,
потому что *нас*
помнили, а не *мы*.
Нам ещё предстоял тихий
ужас воспоминаний,

когда начинает идти
время, уничтожая
радость простую,
радость пространства, —
с первого воспоминания,

которое я забыл.

С ОСТАНОВКАМИ

как безумный льнёт мнёт её лицо
целовать пытается но для неё
это пытка смотрит в окно
электрички холодно смотрит и далеко

следующая песочная

светом сочатся стволы муж от неё отстал
обречённо глядит перед собой
жена отводит глаза устало
как если бы их везли на убой

следующая левашово

плешь его ушёл в мобильник за за за
окном сосен ровный шаг
она то приоткроет то закроет глаза
прижимает к груди пластиковый мешок

следующая парголово

покачивается пара голов
где-то в другом конце разговор

высажу врать не надо обрывки слов
точно всемирный стыд идёт контролёр

следующая шувалово

жалкого жаль и жалкую шпалы
скрипы уключин и крендель булочной
за шлагбаумами
блочные эти дома вечер солнечный

СТАРИК ВСПОМИНАЕТ И МУДРСТВУЕТ

Шёл за ручку на́ реку, медленно разгорался
день,
накупили на рынке ягод и фруктов, дивный
благоухал прилавок, в рифму просилась тень,
и едва отошли, ты схватил белоналивный
плод и роскошно и жадно его разгрыз!
Кто осадит тебя за жадность или осудит?
Смерть? Ты с нею всего лишь теряешь жизнь
и спокойно справишься с тем, что тебя
не будет.

ЭПИЛОГ

Если ты пережил смерть родных
или хуже: измену их,
если ты чудом остался жить,
как тебе быть?

Выйти к морю? Уставиться в полосу,
отделяющую его от небес,
душу держа на весу,
пока не исчезнет вес?
Что это? Что сейчас
здесь и с тобой?
Биология безразличных масс
или то, что тебе причиняет боль?
Полчаса — и заря сменяет зарю.
Я не знаю, кто понуждает: «живи».
Если б сердце думало, говорю,
оно бы останови

СТИХИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

* * *

Сестрица мерила наряд,
шепчась с соседкою,
ещё не умер друг, и брат
входил с ракеткою.

На ветках в дымке золотой
птенцы чирикали,
мальки сновали под водой,
часы не тикали.

В то время я не воспарял
и не загадывал
желаний. Ставни растворял —
и свет окатывал.

Ты помнишь лето — день за днём —
какое выдалось?
А что надвинулось потом,
то и надвинулось.

Когда вплотную к ничему
стоишь, возможно ли,

чтобы ушедшие во тьму
прощально ожили?

Ведь нет любимых в тех краях,
где мне прощение
мерещится за мерзкий страх
развоплощения.

ТОЖДЕСТВО

В мёртвые часы,
когда ни чувств, ни мыслей,
открой тайник боли,
на время забытый, спасительный,
возвращающий к жизни.
(Только боль к ней и возвращает.)

Ты увидишь, как вьёт
горе своё гнездо. Что ни дерево —
то гнездо. Что ни ветвь —
то жилы, что ни вечер —
закат червонный.

И тогда на краю сознания
загорится стыд.

А как станет боль нестерпимой,
убери тайник с глаз долой
и зарой его в чернозём обратно.
(Мёртвому стыд неведом.)

* * *

слышишь звучит паровозный гудок
станции Щорс ненасытный глоток
воздуха с примесью гари
в горле застряли толчки поездов
запах травы остывающий ночью гербарий
волны за изгородью чёрных садов

вровень с ребёнком задуман плацкарт
руки родные отрывочный пар
вовремя вовремя надо сойти
по узорчатому железу ступенек
голос с третьего или седьмого пути
вдоль полотна крапива ревень репейник

улочками под россыпью звёзд живых
мимо подсолнухов спящих седых
источающих накопленный жар
помню а если забыть придётся
шевеление стад коровьих или овечьих отар
нескончаемо и без тебя не прервётся

* * *

Если однажды не вынырну
(жизнь, как ты знаешь, убийственна),
я тебе боль верну.
Она единственная.

Ей не нужны враги —
только любимые. Как почернею дочерна,

ты её береги,
чтоб оставить в наследство дочери.

Береги, не развей,
хоть и нет в боли красоты...
Для кого? Не смеди, оставь для своей,
потому что моя — это ты.

* * *

В девять мы легли —
она у себя, я в своей.
Говорит: «Опять задувает». Ветер земли
дул, раскачивая тень ветвей.
Я хотел её поддержать,
словно видя висящую на волоске
жизнь, но слов, чтоб ей не дрожать,
не нашёл, сам подрагивая в тоске.
Что с того, что подлинность есть
в том, как ветер окно задувает, а ты — свечу,
если наших утрат не счесть
и считать не хочу?
Ничего с того.
Праздник, он с головы до пят
пробирает, мать. Особенно Рождество.
Как начало утрат.

ВЫПИСКА ИЗ БОЛЬНИЦЫ

Смотри, вот белый порошок,
вот жёлтый, синий,

зелёный, а на посошок
прими павлиний —
на случай, если времена
перемешались
и ты забыл их имена.
Чья это шалость?
Господня? — Только что в мозгу
вертелось слово,
а вышел — свет, и не могу
найти простого.
Ни слова, ни лекарства нет,
ни дня, ни ночи, —
жизнь, распушив павлиний свет,
мне застит очи.

SUBWAY

Когда оно вчерне грохочет
и свай мельчит чугунный лес,
сцеплений ржавый чёрт хохочет,
туннельный бес,

и человек, глотатель пиццы,
сидит меж птицами огней,
и жизни топчутся крупницы
в вагонах дней,

летят победа и обида,
гул поезда в утробе скал
вдруг, выдохнут дутьём Аида,
возник и стал.

И к турникетам с птичьим граем,
как в небо ночи фейерверк,
толпа зернистым урожаем
восходит вверх.

ПОТОП

Лило, лило, и на лиловом
белело белым оловом,
неслось ли облаком,
или овалом фонаря
разбрызганного отражалось,
каблук бежал за каблуком,
зонты ломались, спицами горя,
и всё к себе прижалось.

На ветровых сновали дугами,
стекая, стеклоочистители —
всё смыть со всеми их недугами,
чтобы явился новый Ной
и все увидели,
как он рифмуется с весной,
с зелёной веткой
и стихшей каплей световой.

И кисть руки, и кисть руки
из рукава белела тоже,
и рябь по рукаву реки
вытягивала вдаль баржа,
вдоль бёрега в домах уютилось,
вдвойне оттаивал из дрожи
гость у камина, дорожа
тем, что причудилось.

ВОКЗАЛ

Вот некто входит в зал,
пред тем спугнувши птиц,
взлетевших — фьють! — на воздух,
в киоске глянец лиц,

в табло упёршись лбом,
студент твердит: «облом...»,
в нём узник опозданья
колотит кулаком,

заплечных мастер дел меж тем
массирует жене заплечье,
а нищий целится в мишень,
но та отводит взгляд от встречи,

и все питаются по кругу —
кафе съедобный бельетаж,
с газетой, заедая скуку,
клерк ест беляш,

бильярдный шар пломбира в лузу
розетки лёг
на счастье карапузу
с болтанкой под сиденьем ног,

обходит полисмен
с незлой собакой зал,
икает неврастен,
ик, ик, он опоздал,

и дел меж тем заплечных мастер,
жены заплечья массажист,

и нищий тот на фоне астр,
и обернувшаяся та мишень на жизнь,

в киоске всё пестрит,
вытягивая шею,
играет в лотерею
почтенный кроглодит,

и некто, над толпой
взъярённым мозгом взрыв
свод неба голубой,
уже готовит взрыв.

АНАТОМИЯ

В паху гостиницы струится писсаро —
дождь вертикальных линий световых
тем ярче, чем темнее ночи дых,
там горлышками вверх устроен бар,
и льдом переливается нутро
бокала, и бросает в жар
большую барышню в луче проезжих фар,
откупори женитьбу Фигаро,

бильярд раскатывает по сукну шары,
прицельный кий, натёртый мелом,
снуёт, и сталкиваются миры,
и в лузы падают всем телом,

кишки зеркальных лифтов вверх и вниз,
то сдвинув, то раздвинув двери,

в окаменелости пошатливой сошлись
в ажурной клетки звери,
замедлился бесшумно и завис,

забиты уши тишиной ковров,
по коридорам бьётся сердце в глотке,
в порочной белизне безликих номеров
постелей всеприимных лодки,

и, лакомства любви лакая,
барышник, барышни большой сосед,
её под ложечкой сосёт,
она ж всю ночь кричит, не умолкая,
вампира яростно алкая,

за окнами струится писсаро,
и в номерах мертво уже,
как будто отравил, яд впрыснув под ребро,
кого-нибудь де Бомарше.

* * *

Проглаживают простыню реки
нетонущие утюги,
и невидимый ветер
отражением в Лете
тянет по небу облачные тюки.

В кронах пробегает сеттер
рыжий или рыже-серый,
и смерть как расплата за жизнь,
чьей щедростью не дорожишь,
видится полумерой.

СМЕРТЬ КОЧЕТКОВА

Цвет неба, как песок,
смотри в закат, кто хочет,
что из виска в висок
мне метроном грохочет,
когда превысит боль
всё, что превысить может,
налей мне алкоголь,
мой день дожат и дожит,
он без сознания
и мёртвой ниткой вышит,
и не смотри, что я,
как пёс, дрожит и дышит,
всё мимо по усам
и градусом не тешит,
и я не знает сам,
что так дурит и держит,
не зря, не зря, кипя,
чтоб не было в помине,
мозг, выпарив себя,
пас пустоту в пустыне,
когда сверкает боль
и мёртвой хваткой мочит,
дай, Алка, алкоголь,
кончается твой кочет,
впивайся, астроном,
в распыл небесных таин,
я труп, как метроном,
который в лёд запаян.

ПОЛЁТ

Жертвенных животных стадо, очередь,
топчутся с писаниями бок ó бок
и толкутся, как у бога в ступе,
скоро в небеса построчно,

как вокруг пчелиной матки рой детей,
вкруг тучной матери галдят —
кто на́ плечи к ней лезет, кто с плечей,
и вот уж в небесах летят,

то сгрудятся, молясь в иллюминатор,
покачиваются, как зачинают
чернявых чад, то в креслах спят и спят
и в Господе во сне души не чают,

там в вихре вознесённый Илия —
он вскормлен из вороньих клювов сот,
Исайя весть о восседающем в Иерусалиме
над кругом маленьким земли несёт,

там всё на «и», Иеремия разбивает глиняный
кувшин, и Иезекииль,
там разбегающимся кони клином
его на части рвут и втаптывают в пыль,

всё всё на «и», и вот сквозь свитки облачные
снижается «аэрофлот», проснётся
кагал, увидев, выходя из ночи,
как крестик тени на земле смеётся.

* * *

Тайн хранитель, тайну выдай
и из трубочки своей
шар стекла прозрачный выдуй,
в ветвь стиха его извей.
Зимним ливнем, летним градом,
оперением реки,
электрическим разрядом
вдоль искрящейся строки
лень души и разум косный,
бездыханный сон мирской
просквози молниеносной
и вседышащей тоской.
Груша выльется из колбы,
новым деревом взойдёт,
лишь толпою капель шёл бы,
шёл бы точный звездочёт.

1937

Кончалась жизнь, звал сыновей,
в палате неутешно плача
о бедной участи своей.
Кончалась кляча.

Один исчез, махнув рукой,
забыв на табуретке шляпу,
его ждала семья, другой
шёл по этапу.

Кончалось жизни вещество,
по капле уходя из тела,
и разве было до него
кому-то дело?

Невестка, младшего жена,
в ночи писала письма мужу,
поскольку изнутри она
рвалась наружу.

Кончалась жизнь, ждала семья
побочная, темничник видел
сквозь прутья не страну — края,
тюремный выдел.

Синела кляча, рядом стог,
молчала, как покойник, почта,
никто друг другу не помог,
и как помочь-то?

РАБОТНИК

Куда-нибудь устроиться-пристроиться.
Мохнатым насекомым бухгалтерия
о пятерых ногах вползает, роется
в мозгу, в бумагах, серенькая, серенько.
Копейки звёзд тянущь к окну подсчитывать,
краюху неба-хлеба на ночь вырезать,
просеивай, — мне шёпот в ухо, — сито ведь,
а что на дне, то тщись прилежно вылизать.
Я «тщись» сама и стиснут плоскогубцами,
гудят цеха, бросает в жар от доменных

печей, и кто я есть с моими куцыми
надеждами на чердаках соломенных.
Мне остаётся зубы заговаривать
неведомо кому, чтоб время вытрясти,
чтоб нечем было чёрный чай заваривать,
и закопать свой сон, и явью вырасти.

БОЛЬНИЧНАЯ ПАЛАТА И ЦИРК

умирая
белой боли палата
мерить море по льду замирая
плаха лунного пола полночные полы халата

Огоньки вокруг ёлочки,
одетой с иголки,
прыгают детей собачки,
ждут подарочной подачки,
в очереди в антракте,
в запахе манежа цирк затеян,
из входных дверей, открытых ради
вдоха, воздухом зимы провеян.

сквозь матовую стену в сером
санитары говор
и смешок и перекур и чем-то серным
тянет пациент из первой загляни не помер

Топчутся на снегу они,
гул, огни,
будет вам второе отделение,
ах, какое праздничное отдаление,

если тут, немедля,
приближение: оркестрик грянул,
музыка под куполом ли, свет ли,
взрыв ли разноцветных гранул.

плач безвольный
ни родни кругом чтоб руку
птица-капельница игольный
клюв вонзила в кровь идёт по кругу

Выезд — луч — эквилибриста:
быстро, быстро
он бежит, блестя на шаре,
изгибаясь, в воздухе руками шаря,
маг за ним с помощницей на стуле —
простынёй накроет, два-три пасса,
сдёргивает — никого, надули!
а была живого тела масса.

память из палаты выйдет
перед новым годом
как огонь бенгальский для того кто видит
кто из тех же непостижных блёсток родом

СЦЕНИЧЕСКИЙ ОБРАЗ

В сахаре сцены раззолоченной, в сахаре,
с улыбкой сахарной, сахарной, в угаре,
сжимая статуэтку в онемелых,
он к славе ластится в лучах болезно-белых.

Рот как в разрезе ананасной дыни,
слюною смоченные семечки зубов,

он сладость зрительских оскаленных забав,
десерт пустыни.

Как этот бред настоян или выделан,
какой наградой буфф увенчан из конверта,
он сон, чей сон не утолён, он идол, он
и жертва, жертва.

Внезапно свет погаснет, ночь займётся,
слова то дёргая, то искажая в блажи,
и что-то вздрогнет, зазмеится, засмеётся,
и поползут миражи.

Из кресел приподнявшись на локтях —
зеваки, и в глазах несметных,
как бы в египетской ладье,
со сцены гроб сплывёт в аплодисментах.

Погаснет блеск ладоней перелётных,
истает стая до поры, и в новых бликах
из-за кулис взойдёт светило, из бесплотных
теней вернув счастливцев солнцеликих.

КОНЬКОБЕЖЕЦ

Покуда вымер и затих, в зиме ночуя,
не чая выспаться, часов не чуя,
районный центр, и нет рабочих толп,
и падает безмолвно ртутный столб,
один не спит, в тугом комбинезоне
ко льду клонясь в размашистом разгоне, — 389

на повороте пересверк
коньков, — покуда, выдохшись, померк

районный центр, раскатисто кругами,
чуть накреньясь, касаясь льда руками,
вписавшись с хрустом в поворот,
он исподлобья правит ход,
в тугом комбинезоне конькобежец, —
весёлый бог-морозовержец
его иглоу по пластинке — лёд искрит —
ведёт, и фосфорный фонарь горит.

Архитектуру января, бег циркулярный
в стране полярной,
расчисленный, как вдох и выдох, вдох
и выдох — что с того, что мир оглох,
ослеп, оглох? — один прохожий поздний
увидит навсегда, проезжий, звёздный
увидит мир, в котором заперта
жизнь, вырываясь паром изо рта.

РАЙ

Всё высветилось и — предстало.
Стих уличный гул.
За шиворот капля упала.
Прохожий на ветку взглянул.

Сегодня им не разминуться,
прохожему с каплей, и вот
какие-то дети смеются.
Какая-то краля идёт.

На тоненьких ножках, с котёнком
в руках, поспешает она,
и лёгкой приправою к тонким
добавлена чуть кривизна.

Ей вслед — так игрива походка —
присвистнул строитель с лесов,
и счастливо дышит красотка,
не ведающая часов.

День солнца и ласковых выдач
упавшего с неба тепла.
Не так ли, Борис Леонидыч?
За шиворот капля стекла.

Снежок возле дерева талый,
и песню заводит свою
улыбчивый нищий: «Пожалуй,
я умер, поскольку — в раю».

ПАМЯТЬ

Марине Гарбер

Выудить из речки — в водяных вся лилиях —
дно у берега чуть илистое —
что-нибудь блестящее, извилистое,
исчезающее в водорослях, в их извилинах...
Нет ещё ума, ты — из бессильных
и беспамятных и позже приневолишь
жизнь свою. Есть естество лишь.

.....

То в полоску золотистую, то в чёрную,
пчёлка, «памятью» случайно наречённая
(полдень с полночью — её бока),
головой ударилась в бега.
Говорит потом: нет ничего там,
затопило берега,
не с чем возвращаться к сотам.

А помять тебя, как глину, память,
из которой обжигают гончары
вазы и по кругу ваз — миры...
Если не тобой, чем пир приправить?
Говорит: мои дары —
скука детства: сон ли упоённый,
вдоль забора подорожник запылённый.

А найдёшь крыло пчелы — там жилки.
Многоглазо смотрит с кроны вишня.
Уличного дурачка ужимки
да бельё полощет чья-то жинка.
Что из этого ты выжмешь?
Как на цыпочки встаёт бельё развесить?
Пятки, икры сильные. О чём тут грезить?

Отвечаю: разве так, а не иначе?
Каланча, извозчик с ключей.
Ясли для скота. Тепло животное.
Нет, любовь — дыханье не безродное,
нежности её — телячьи.
Слово — имя. Вот Песчаная, Базарная.
Стрекоза летит сквозь воздух лучезарная.

Зря ты замирал у мастерских
бондаря ли, кузнеца ли, слесаря?

У витринного окна портних?
А цирюльник в зеркале в тунике цезаря?
Голову даю на отсечение — пшик и пших!
Паровоз-кукушка по узкоколейке.
Удочка через плечо, в улове — три уклеики.

В ПЕРЕХОДЕ

Голоден я, дай еды мне,
вредной, дымной,
подгоревшей, сытной,
побирушечной, постыдной.
Вот она, моя привальная.
Скорбно ль, братец, на душе,
слёз не проливай, проваливай...
Да проваливай уже!
А что сердце моё горе съело,
не твоё собачье дело.

УЛИЦА ЖОРЕСА

Какая улица? Жореса.
Жореса? Жана?
Сосновое дыханье леса.
Сновск. Снов. Осанна!

Хрип паровоза донесётся,
и этой хрипью
и гарью воздух отзовётся.
Постой, я выпью, —

пока не побледнело лето,
не задохнулось,
пока не сгнуло бесследно
то, что коснулось, —

за выжженное солнцем поле
и матч футбольный,
за дальний бег реки на воле
и блеск продольный,

за пенье вечером с прищёлком
и птичье слово,
за улицу с холодным шёлком
песка босого.

За всё сосновое, речное,
Сновск, Снов... Осанна!
За имя девочки ночное.
О, донна Жанна!

* * *

С утра, чуть рассвело, я у подножья
цветка увидел крохотный обоз —
карминный с чёрной крапинкой — то божьей
коровке в насекомый храм брелось.
Чуть вздрагивали иногда надкрылья —
взлететь ли ей на праздничный простор
или вернуть крылатые усилья

обратно в шеститочечный узор?
Цвёл колокольчиков тончайший хор.

Кузнечик велимир, как бы калека
с клюками, приготовился лететь,
и усики подъял его коллега,
из листьев мари выглянув на треть.
Полз муравей, неутомимый левин,
плыл мотылёк ганс христиан, цветы
целуя и не ведая беды, —
к заутрене, на маленький молебен
во славу их праматери — Воды.

На поле пасся, вдалеке от крова,
конь, и блистало тело вороного,
как чёрные китайские шелка:
взглянуть — и миг зажмуриться, и снова
взглянуть, но так, чтоб дрогнула строка.
Из полевой необозримой шири
я в лес забрёл, где чудилось мне
то зинь, то фью, то сип, то цири-цири...
И там остановился в полутьме.

Великое событие оленей
шло меж деревьев, бережно косясь.
Их ласковое пламенное племя
несло рогов изысканную вязь.
За ними шёл поэт в пижамной паре
и бормотал сквозь круглые очки
одический рефрен о божьей твари.
День угасал, но вечер был в ударе,
и что ни шаг взрывались светлячки.

ГРОЗА

вяжут ломаные спицы молний
издали и всё неугомонней
в быстрых бога руках
жизнь земную нитяную
электрическое поле
всех шерстистых тварей
на десятую секунды долю
озарится прежде чем ударит молот
и в мельканьях молний
тем молитвенно-безмолвной
мир предстанет
лепета он жизни молит молит

тварей шерстью трущихся в траве
загорающийся глаз
иглой колк
на краплённой капле тропе
как янтарь и шёлк
шёлк и янтарь
грянут фабрики туч грозовых
фабрики парящих льдинок
цапли ломаные спиц
воздуха сквозной пробой
первой пробой освежит
и в небе голубой
мозг извилинами задрожит

ЧЕЛОВЕК

никуда не метящий
не светящийся

в разговоре медлящий
не ветвящийся
в небе не витающий
взгляд свой прячущий
дню не отвечающий
ночью плачущий
человек бытующий
и трудящийся
человек тоскующий
и томящийся
то ли стих не греющий
то ли стоящий
то ли ветер веющий
то ли воющий

СМОТРЕНИЕ

Манометр. Ночной манометр.
Горит цифирь.
Смотреть на паровой копёр часами
или грохочущий чигирь.
На паровозы в тупике.
Депо кирпичное.
Буксир, плывущий по реке,
невзрачное его величие.
Смотреть на трубы вдоль стены,
по шву — окалина.
На многодымный тот сталелитейный
завод окраинный.
Пить воздуха невидимые литры,
по первой никуда пороше

идти, пока пульсируют цилиндры
и ходят поршни.
Смотреть на шахту — как она глотает
шахтёра чёрным ртом,
в забое лошадь с ним слепая,
мертва трудом,
и надо, ничего дотла не чувствуя,
смотреть на вещи, в них
есть чудное твоё отсутствие,
в котором — тих.

* * *

Пруд застелило листьями,
которых пруд пруди,
и дереву, как истине,
я говорю: свети!
До угасанья — несколько
прозрачно-тихих дней,
и мне, пока я здесь, легка
печаль и смерть ясней.
Качнув кленовой веткою,
возник олень и стал
стеклянной статуэткою,
и глазом заблестал,
и я спросил: в обыденном
такое существо
откуда? — став невидимым,
чтоб не спугнуть его.

СЕГОДНЯ

От всех слепящих клёнов и осин,
от воздуха чуть горького на вкус,
от осени — так непереносим,
свет при секундном страхе! — заслонюсь.
Не обещал тебе и никому
не обещал я славить этот мир,
который на просвет являет тьму.
Тлетворный страх — мой верный конвоир.
Что смерть? Ничто? Ни тела, ни души?
Ни осенённых позолотой дней?
Не окна в сад сегодня хороши,
а шторы потемней и поплотней.
Зато теперь, глотая темноту,
узнаешь из придонного угла,
чего лишён живущий на свету:
тоски по дням последнего тепла.

* * *

Двадцать лет как её не стало.
Страх сегодня возник ниоткуда:
нет её и никогда не будет.
Жалость смертельная сжала.
Разве может быть так непрочно,
оглушительно и бесправно,
чтоб исчезло невозвратно то, что
говорило и дышало явно?
То, что суще-ство-ва-ло.
Как суставы, ощупывай слог.

Нет её, и, если любви твоей мало
воскресить, прочь с дороги.
Страх есть только, пока дышишь.
А потом забудешь бояться.
Так исчезнешь, что не услышишь,
как тебя хватятся домочадцы.

ИЗ ВЕКА МИНУВШЕГО

Смену сдать, у чугунной
ждать ограды.
О, троллейбус двухструнный,
моё тело замёрзшее радо.
Я на задней площадке
встану в слякоть,
вот они, отпечатки —
лапоть левый и правый мой лапоть.
Мост Елагин, до встречи.
По Морскому
ехать вечно и вечно
верным быть снегопаду косому.
Стихотворной тетрадью
счёт оплачен,
в жакте, военкомате —
где ещё? — я учтён и утрачен.
Я сойду и исчезну
в подворотне,
но прославив чудесну
жизнь, явившуюся сегодня.

НЕ МЕЧ И ТАТЬ. МЕЧТАТЬ!

Лучится мир: в нём нет лечебниц,
ни смерти, ни чумы предательств,
и ты, летальный вовлеченец,
отныне вечн, без отлагательств.

Нет ни холопов, ни высочеств,
есть равенства священноучасть,
не сбивчивость и брех пророчеств,
но сбывчивость, расчёт, могучесть.

Сверкает город электричеств,
и высших чудотворных качеств,
и благ бесчисленных количеств,
и в звёздном колпаке чудачеств.

Не чад войны, но многочадость,
и в общем воздухе отечеств
мы празднуем с тобой зачатость
и разум встречных человечеств.

И не плачевность и печальность,
не ночи выморочной нечисть,
нам сёстры — речи изначальность
и птичья утренняя певчесть.

НА ЗАКАТЕ

Безрассудному звуку предаться,
речь ручную предать,
чтобы не было чем оправдаться,
блудной зауми зуд оправдать.

Беспризорному псу уподобясь,
жить, привязанность к будке смешна,
как имущества опись.
Кладь ручная, кому ты нужна?
Заглянувший в колодезь,
у которого дно — в небесах,
он теперь инородец
здесь, где умствует страх
и с душою легко сторговаться.
От увиденного ни на миг
заглянувшему не оторваться.
Не в обход — напрямик
он прощальные песни заводит —
преизбыток в них жизни такой,
что слепящее медлит ещё, не заходит.
Всё висит и висит над строкой.

БЕЗУМНОМУ МОНАРХУ

К сумасшедшим птицы тянутся.
Мозга нет у малых сих.
Руку им подай — останутся
навсегда в руках твоих.
Ты подобен им, ты весь иной,
посвисти, вверху побыв,
как бы тронув воздух песенный,
поцелуем пригубив.
Сколько вех и мелких вешечек
в роще, щебет и щелчки, —
вместо головы — орешечек,
вместо лапок — щипчики.

Руку с кормом выставь наискось,
бормоча: «лети, лети», —
и слетятся птицы, зная сквозь
ветви верные пути.
А потом и та, что с крыльями,
та, что всех безумней, сир,
унесёт тебя усильями
мерных взмахов в райский мир.

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗ ПЕРВЫХ ОПЫТОВ

«Сквозь тьму непролазную, тьму азиатскую, тьму...»	5
«Расширяясь течением реки, точно криком каким...»	6
«Троллейбус, что ли, крив...»	7
«Вот и Нила разлил...»	7
«Всё совестней цепляние за жизнь...»	9
«Над дебаркадером ползёт чёрно-серое небо...»	9
«Я тоже проходил сквозь этот страх...»	10
«Я говорю с тобой, милый...»	12
«Это город слепых...»	12
«И от любви остаётся горстка...»	13
«Человеку нужна только комната...»	14
«Феноменальность жизни моей, шага...»	15
«Ребёнок спит, подложив под щёку...»	15
«О радости — как засыпает мост...»	16
«Домой, домой, домой...»	17
Три времени года	18
«Я о тебе молюсь...»	19
«Шум, шум, шум...»	20
«Должен снег лететь...»	21
«Днём в комнате зимы начальной...»	22

ИЗ КНИГИ «ЭДИП»

ШУМ ЗЕМЛИ

Вступление	23
----------------------	----

Часть первая

«Мальчик встанет, телом тонким потянувшись...»	27
«Чёрно-красная ночь Украины...»	28

«На противоположном берегу...»	29
«Когда, проснувшись, к тамбуру спеша...»	30
«Перрон, как в гречневой крупе...»	31
«...так осенью проехать мимо школы...»	32
«Этой женщины трудные очертанья...»	32
«медлит буксир на реке...»	33
«Ты тяжёлую дверь отворил...»	34
«вроде кладбища...»	35
«Развеселись, теперь развеселись...»	35
«А дальше-то вот что: под утро ключом...»	36

Часть вторая

«Это есть облегание темы...»	38
«Волнуемое море непрестанно...»	38
«Странно, что и здесь жизнь...»	40
«Это степь, и сухое пространство, как луковица сухое...»	42
«Он о бесплодности чувствовал, о пустоте...»	43
«Кто меня перевёртывал на спину...»	44
«Куда теперь плыву, так долго шёл...»	44
«Я шум оглушительный слышу Земли...»	45
«Я дальним эхом знал, что Слово — Бог...»	46
«Я верил в бога Ра...»	46
«Так посещает жизнь, когда ступня снимает...»	48
«Ляжем, дверь приоткроем...»	49
«Проснувшись от страха, я слышал, он вывел меня...»	49
«ТИХИЙ ИЗ СТЕНЫ ВЫХОДИТ ЭДИП...»	
«Высокий и узкий мост над путями...»	50
«Эти люди — держатели твоего...»	51
«Между тем эта вымышленная жизнь...»	52
«Шуба. Солнце. Январь...»	53
Школьники. Весна	54
«Квартира в три комнатных рукава...»	55
Стихи памяти отца	55
«футбол на стадионе имени...»	57
«Из пустых коридоров мастики...»	58
«В георгина лепестки уставясь...»	59

Памяти Лены Соколовой	60
«Приближение первого...»	62
«О, ядро с ключицы...»	63
«По коридорам тянет зверем...»	64
«Вестибюля я школьного...»	65
«Поднимайся над долгоиграющим...»	66
«Тихим временем мать пролетает...»	67
«Тихий из стены выходит Эдип...»	68
«Ломкую корочку снега...»	68
С дядькой	70
Бабушка видит мужа	71
«Говорю: вращенье в барабанах...»	72
«Вернуться в этот город? Нет, избавь...»	73
«Над засушливым учебником...»	74
«Квартира окнами на Кировский...»	75
«С кем-то я по каменным ступеням...»	76
«Я вотру декабрьский воздух в кожу...»	77
Болезнь	78
Разворачивание завтрака	81
«Мать жарит яичницу...»	83
«Это некто тычется там и мечется...»	84
«и одна сестра говорит я сдохну...»	85
«Мать исчезла совершенно...»	86
Воскрешение матери	87

ИЗ КНИГИ «НОВЫЕ РИФМЫ»

«Тридцать первого утром...»	89
Воскресение	91
«О, по мне, она...»	91
Накануне	93
Шахматный этюд	94
Театр	95
Сквозь туннель	97
Гольдберг. Вариации	98
Пролистывая книгу	104
ЦПКиО	104

Футбол	106
Косноязычная баллада	107
Илиада. Двойной сон	108
«Полиграфмаш»	110
По Кировскому	112
В сторону Дзержинского сада	113
С латиноамериканского	114

ИЗ КНИГ «ВЕЧЕРНЕЙ ПОЧТОЙ»,
«ДОЛГОТА ДНЯ» И «ТИХОЕ ПАЛЬТО»

«Мало ли, что хрустят...»	116
«Дай бессмысленного слова нежного...»	117
«Тёмная дорога тёмная...»	117
«О, вечереет, чернеет, звереет река...»	118
«Я возьму светящийся той зимы квадрат...»	118
«Я посвящу тебе лестниц волчки...»	120
«Озера грудной разрыв...»	121
«Долгие цедаются осени поздней часы...»	121
«Тому семнадцать, как хожу кругами...»	122
«Трезвые наступают дни...»	123
«Остановка над дымной Невой...»	124
Льву Дановскому	125
«Господи, в комнату вошёл в семь часов...»	126
«Лучшее время — в потёмках...»	127
«Открой окно, ползущего червя...»	127
«...и сосны, как церковный хор, стоят...»	128
«В бронхах это хрипит Бронкса...»	129
«Чудной жизни стволы...»	130
«Свободней говори, пожалуйста...»	130
Утренний мотив	131
«На что мой взгляд ни упадёт...»	132
Шахматы	133
«Хочешь, всё переберу...»	135
Эмигрантское	138
«Я жил в чужих домах неприбранных...»	139

Партитура Бронкса	141
Баллада по уходу	142
Одиночество в Покипси	144
«Увижу библию песка до горизонта...»	145
Вспоминая Пастернака	147
Памяти Л.	147
«В полях инстинкта, искренних, как щит...»	149
Мария Магдалина	151
Диптих	152
Распятие	154
Дерево	154
Вещь в двух частях	155
Вариант Медеи	157
Набросок	158
Романс	159
Ходасевич	160
На весах	161
Мотив	162
«День дожитенный безделья...»	162
В поезде	163
В блокнот	165
Обход с Достоевским	165
Заболоцкий в «Овощном»	167
Лирика	168

ИЗ КНИГИ «ГРИФЦОВ»

Любовь	170
Выходной	171
На уроке	172
Библейский сон	172
Первое свидание	173
Грифцов прогулочный	174
В обратной перспективе	175
Два возвращения	175
Семь плюс один	176
Утро	177

Живые картины	177
Грифцов-Орфей	179
Грифцов и Вторая книга Царств	180
Грифцов и Беккет	182
Диалог Грифцова со своей душой	184
Весна	185

ИЗ КНИГИ «ЭЛЕГИИ И ДРУГИЕ СТИХИ»

Элегия. Воплощение	186
Элегия. Пришествие	188
Элегия. Плавание	190
Элегия. Под линзой	192
Элегия. Кузина в 1973 году	193
Из Лидии Гинзбург	195
Железнодорожное полотно	196
По-весть	197
Этюд	200
Город-вариация	201
Ода осени	202
Козлиная песнь	203
Письмо Гоголя	205
Апории	206
Он	208
Посещение	209
Осень	210
Перед отлётом	211
Романс на одной ноте	211
Шекспириада	212
Стихи	214

ИЗ КНИГИ «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»

Посвящение № 1	216
Посвящение № 2	217
Посвящение № 3	217

1. Матвеева, Зотикова и Антон	217
2. Серебряков	218
3. Белова	219
4. Александр Старший	220
5. Шарманка (1)	221
6. Иван Иванович	221
7. Матвеев	223
8. Тарховка (а)	224
9. Веранда бытия (А)	224
10. Классная баллада	225
11. Шарманка (2)	226
12. Первое сентября	227
13. Философия I	228
14. Историчка	229
15. Лирическое отступление	230
16. Цикада	231
17. Шарманка (3)	231
18. Вечер	232
19. Ночь	233
20. Тарховка (б)	234
21. Процесс	234
22. Шарманка (4)	235
23. Урок русского/литературы	236
24. На дачу	237
25. Рябинкова и Антон	238
26. Веранда бытия (Б)	239
27. Под Новый год	239
28. Шарманка (5)	240
29. После школы	241
30. Пение и рисование	241
31. Времена года	242
32. Импровизация	244
33. Философия II	245
34. Шарманка (6)	245
Послесловие № 1	246
Послесловие № 2	247
Послесловие № 3	247

ИЗ КНИГИ «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»

«птица копится и цельно...»	248
«Любезный брат и друг духовных выгод...»	248
Безумец	249
Цапля	251
Мелодия	252
На юге	253
Классическое	253
Два птичьих фокуса	254
Ночь	255
Прогулка	256
Жизнеописание	257
«В пехотный холод снаряжайся...»	258
На фоне города	258
Из Катулла	259
Толстой	260
Покупка	263
Начало зимы	264
«Случается, днём переулочным...»	265
«Боже праведный, голубь смертельный...»	265
Музыкальная пьеса	266
Сон памяти друга	268
Памяти Льва Дановского	269
Памяти Володи Дворкина	270
«Женщина смотрит на беглые очертанья...»	270
«Мы остались на поверхности земли...»	272
«Возьмите летящего вдоль воробья...»	272
Астролябия жизни	273
Стихи для Елены	274
Ода одуванчику	276
«завёрнутая в одеяло...»	277
«Как у зеркала, напомаживая губы...»	278
«Когда я поворачиваюсь на бок...»	279
Начало	280
«В голове у голубя...»	282

«Я более люблю...»	282
Исчезновение	283

ИЗ КНИГИ «ЛАДЕЙНЫЙ ЭНДШПИЛЬ»

Учтивость	285
Бинокль	286
Причастие	286
Фотография	287
Старик	287
Слово	287
Счастье	288
Стрижка	289
Завтрак	289
На пороге	290
Тост	290
Сон	291
Ночь на 3 апреля 2009 года	292
Суть дела	293
Рождение времени	293
Радиоспектакль «Иванов»	294
Вина	296
С похорон	297
Исток	297
Дитя возле пекарни	298
У стены	299
Родители на закате дня	299
Стоп-кадр	300
Шпалерная	300
Ковчег	302
Ночные вещи	302

ИЗ КНИГИ «ЧИТАЮЩИЙ РАСПИСАНИЕ»

День ноябрьский	305
1. По досточке	305
2. В яркости	306

3. Бывает, снег идёт	306
4. Жена	307
5. В паре	307
6. Часы и очки	308
7. Диктант	309
8. Забытьё	309
9. В поздний час	310
10. Оборона	310
11. Орёл	311
12. В выходные	312
13. Когда метель	312
14. Флюиды	313
15. Будень	314
16. Охота	314
17. С Лидой	315
18. Письма к брату	317
19. После кладбища	318
20. Ночью	319
21. Приёмный день	320
22. Блокадная баллада	321
23. Проблеск	322
24. Вечер	324
Техника расставанья	324

ВИДЕНИЕ

I	326
II	330
III	334

ИЗ КНИГИ «АРКАДИЯ»

Жираф	339
Вдвоём	340
Бегемот	340
На курорте	341
Анакреонт	341
Черепашка	342

С Франциском	343
Жонглёр перед Марией с Младенцем	344
Любовь	344
Песнь песней	345
Творчество	346
Бессмертие	346
Начало	347
Давид славит	347
Возникновение	348
На поводке	349
Слон	350
Давид благодарит	350
Апрель	351

ИЗ КНИГИ «В ЧУТЬ ВИДИМОМ ПРОЧЕСТЬ»

Элегия. Семейная сага	353
Элегия с недостающей запятой	355
Элегия памяти	356
На горизонте	357
Элегия сборов	358
Элегия обустройства	360
Элегия. Отец	361
Перед сном	363
Одна жизнь	363
Элегия. Со стороны	366
Элегия. Зеркало сцены	367
Ночной смотритель	369
«Помнишь, мы родились...»	370
С остановками	371
Старик вспоминает и мудрствует	372
Эпилог	372

СТИХИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

«Сестрица мерила наряд...»	374
Тожество	375
«слышишь звучит паровозный гудок...»	376

«Если однажды не вынырну...»	376
«В девять мы легли...»	377
Выписка из больницы	377
Subway	378
Потоп	379
Вокзал	380
Анатомия	381
«Проглаживают простыню реки...»	382
Смерть Кочеткова	383
Полёт	384
«Тайн хранитель, тайну выдай...»	385
1937	385
Работник	386
Больничная палата и цирк	387
Сценический образ	388
Конькобежец	389
Рай	390
Память	391
В переходе	393
Улица Жореса	393
«С утра, чуть рассвело, я у подножья...»	394
Гроза	396
Человек	396
Смотрение	397
«Пруд застелило листьями...»	398
Сегодня	399
«Двадцать лет, как её не стало...»	399
Из века минувшего	400
Не меч и тать. Мечтать!	401
На закате	401
Безумному монарху	402

Литературно-художественное издание

ВЛАДИМИР ГАНДЕЛЬСМАН

ВИДЕНИЕ

Избранное

Ответственный редактор Галина Соловьева

Художественный редактор Вадим Пожидаев

Технический редактор Татьяна Тихомирова

Корректор Валентина Гончар

Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 07.09.2018. Формат издания 70 × 100^{1/32}.
Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 15,48. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®

115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт». 170546, Тверская область, Промышленная зона
Боровлево-1, комплекс № 3А. www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19

E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60. E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



Y-PTR-24087-01-R